



А.С.Серафимович

ЧУДО

И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

А.С.С ЕРАФИМОВИЧ

ЧУДО

*И ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ*



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Тексты печатаются по изданию:
А. Серафимович, Собрание сочинений, Гослитиздат
М. 1940—1948 гг.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

I

— Захар Степаныч!— слышится короткий, резкий, скрипучий, как будто в горле переломилась с сухим треском березовая палка, голос.

— Захар Степаныч!

Кругом все, наклонив головы, пишут. От этого в сумрачной, с темными стенами и потолком комнате, среди плавающего облаками табачного дыма носится шуршанье, как будто бесчисленное множество прусаков бегают и шелестят по бумаге. Временами слышится скрип расшатавшегося стула да шарканье переключаемых одна на одну ног.

Из комнаты писцов, в которой они набиты, как сельди, и из которых трое и днем работают при лампах, так как в углу, где стоит их стол, совсем темно, тянет прокислым запахом портянок, дешевым табаком и неустанно несется стрекотание трех ремингтонов.

Это дробное, непрерывное металлическое перестукивание маленьких машин наполняет комнаты, назойливо лезет в уши, переполняет голову, сыплется, ни на минуту не прерываясь, отдаваясь в мозгу непрерывными резкими, сухими, подскакивающими ударами.

Но это — на свежего человека. Все же, кто здесь сидит, не слышат, не замечают этого сухого, раздражающего стука, не замечают черноты и плесени стен, копоти потолка, тяжелого, густого прокислого воздуха, скудости дневного света, с усилием пробивающегося сквозь густую синеватую мглу табачного дыма.

Привыкли к надоедливому, назойливому, раздражающему стуку ремингтонов, привыкли к шуршанию бумаг, к известным формам выражения мыслей, к известным мыслям, языку, к подчинению, к монотонности, скуке, однообразию, тоске унылой жизни.

За стеной катились экипажи, торопился, толкался занятый, деловой люд; работали, веселились, боролись, богатели, разорялись; создавались события, разворачивалась сложная, запутанная, непонятная жизнь. Здесь, точно это было в другом царстве, писали бумаги, и царило страшное спокойствие, определенность и убеждение, что та сложная, запутанная, пестрая, живая, быющая за стеной жизнь — здесь-то, именно в этих темных, пахнущих плесенью комнатах, и формируется, определяется, направляется в то или иное русло или задерживается, приостанавливается.

И все в этом глубоко убеждены.

— Захар Степаныч!

Захар Степаныч сидит у самых дверей. Он слышит возглас своего начальника и медлит, раскладывая бумаги, медлит, чтобы не уронить своего достоинства: он не мальчишка, не к лицу ему по первому окрику вскакивать и бежать. Впрочем, он медлит ровно настолько, чтоб не дожидаться еще одного окрика, после которого обыкновенно бывает жестокий разнос. Он не спеша подымается и идет через всю комнату, заставленную столами, к своему начальнику, в длиннополом, мешковатом, лоснящемся на локтях и по бортам сюртуке, важно и с сознанием достоинства.

Голова у Захара Степаныча совершенно облезлая и тускло посвечивает гладкой кожей.

— Конечно, это всем известно, что будущее человечество все будет безволосое, не исключая и дам,— говорил он обыкновенно, вытаскивая при этом из жилетного кармана маленький гребешок и начиная ездить по голой коже зубьями, втайне считая себя только начинающим лысеть, что, конечно, нисколько не мешало молодому человеку в сорок два года ухаживать за женщинами.

Он подходит к начальнику и, слегка наклонив голову, слушает.

— Я не понимаю... я не понимаю, зачем вы сидите там... о чем вы думаете! Это черт знает что!.. В конце концов к чертовой матери нас обоих прогонят!..

Столоначальник кричит, размахивает руками, изо рта брызжет слюна. Он худ, лицо желто, как лимон, и кожу приподымают угловатые кости.

— Да позвольте, в чем дело? — говорит Захар Степаныч, своею сдержанностью и спокойствием стараясь сдержать и своего начальника.

— Еще спрашивает... Ска-ажите, пожалуйста!.. Это вот — что такое? — кричал визгливым тонким голосом столоначальник, тыча своему помощнику почти в самое лицо бумагу. — О чем вы думаете?

Тот взял бумагу и бегло пробежал на ней пометку начальника отделения: *Почему не доложено?* Тонкий, небрежный, беглый почерк этих трех слов, заключавших в себе, помимо своего прямого смысла, признаки силы и власти, носил отпечаток угрозы.

Захар Степаныч спокойно положил бумагу на стол:

— По поводу этого дела мы запросили строительное отделение. До сих пор они не дают ответа, а без справки, Никита Иванович, сами знаете, нельзя писать доклада.

Столоначальник разом опал. Он вспомнил, что ведь сам же распорядился сделать запрос и что без справки действительно нельзя составлять доклада. Но через секунду его визгливый голос снова стал разноситься в табачном дыму полутемной комнаты.

— Отговорка!.. Знаю я вас... То же было с делом Ивановых...

Никита Иванович размахивал руками, брызгал слюной и кричал тонкой срывающейся фистулой, стараясь побольнее уязвить помощника; кричал от сознания своей неправоты, от сознания нанесенной ни в чем не повинному человеку обиды; кричал оттого, что у него болела грудь, оттого, что врачи настаивали, чтобы он бросил службу и уехал на юг, что у него пятеро детей, что их надо кормить, что дым ест ему легкие и вызывает кашель... Никита Иванович закашлялся, а Захар Степаныч пошел на свое место.

Он шел так же степенно и с достоинством, и только красная шея выдавала внутреннее подавляемое волнение и горечь. Попрежнему стоял шелест перьев по бумаге, плавал слоями табачный дым, надоедливо стрекотали ремингтоны и тяжело было дышать.

Захар Степаныч, отложив перо, демонстративно свертывал папироску. К нему подошел Крысиков, молодой чиновник, недавно получивший чин.

Новенький, с иголки, первый раз надетый мундир облегал худощавую фигуру маленького человечка, и, казалось, в нем-то, в этом мундире, и заключалось все, что было в чиновнике Крысикове важного, особенного, отличавшего его от всех других людей. И все, что прежде составляло жизнь — поскорее уйти со службы, наскоро пообедать, поваляться на кровати, побренчать на гитаре: потом на бульвар, барышни, шутки, смех, орехи; потом охота на горничных, кухарок с черных ходов барских домов, — все это поникло, побледнело и отступило перед темнозеленым сукном, все время стоявшим перед глазами. Крысиков никак не мог справиться с губами и лицом, — они так и разъезжались, конфузя его. Радостное, праздничное, лучезарное настроение распирало, и мундир, казалось, становился тесен.

И он все ждал, что чиновники побросают перья, дела, столпятся вокруг него и посыплются восклицания:

— А?! Да это вы!.. Вас не узнаешь, совсем другой человек...

Тогда Крысиков бы ответил:

— Что тут особенного, господа, мундир как мундир... пустяки...

Но никто не трогался с места; все сидели с наклоненными головами и как ни в чем не бывало писали.

— Дайте-ка папирочку.

Захар Степаныч молча придвинул бумажку, в которой было немного мелкого сухого, почти пыли, табаку и несколько клочков измятой папирсной бумаги.

— Вот проклятые портные, — заговорил молодой чиновник, не будучи в состоянии справиться с собой, со своим лицом, со своими разъезжавшимися губами, — проклятые портные — до чего проймы режут! — И он приподнял над головой одну руку в новом темнозеленом рукаве, а другою в таком же рукаве потрогал огромные, болтавшиеся подмышкой проймы.

— А все почему? — заговорил Захар Степаныч, не слушая и отвечая на свои мысли, — все почему? Да потому, что, как известно, люди от обезьян происходят... Шерсть обезьяна потеряла, вот и человек. Не так, что ли? А обезьяна от кого? А обезьяна от собаки или от волка: на задних лапах стали ходить, вот и обезьяна. Не так, что ли?.. Ну, а волк, известно, животное...

Крысиков, в недоумении косясь на Захара Степаныча, торопливо делал папиросу и приговаривал.

— Да-а... да, да... это, конечно... ну, да, да, это так...

— Или собака... ты ее не трогаешь, а она вскочила, цап тебя за ногу, так себе, здорово живешь...

— Да-а... да, да... это так...

Захар Степаныч многозначительно замолчал, закурил папиросу и так же демонстративно стал затягиваться и, пуская дым, как будто хотел сказать: «На ж тебе!.. курю вот...»

Молодой чиновник сделал папиросу, несколько раз затянулся, постоял у стола, ощущая на себе новый мундир, потрогивая подмышками, и отошел к своему столу, не решаясь опять заговорить о портных, которые так ошибаются.

II

Как только Захар Степаныч заговорил об обезьянах, он почувствовал обычное знакомое облегчение. Держа папиросу в слегка оскаленных желтых зубах и пуская сквозь них и носом облака дыма, он достал из жилетного кармана маленькую греленку и стал ездить зубьями по голове, приглаживая след другой рукой. Это означало, что Захар Степаныч примирился. Он придвинул к себе бумаги, взял перо и стал писать, не выпуская из зубов папиросу и щурясь от грубого табачного дыма.

Когда-то Захар Степаныч был изгнан из пятого класса семинарии за то, что на столе его квартиры инспектор нашел несколько книг Дарвина. Неизвестно, читал ли Захар Степаныч эти книги; может быть, и не читал, но слово «Дарвин» и представление об эволюционной теории в том смысле, что люди произошли от обезьяны, заняло в его жизни особое место. Каждый раз, как ему приходилось сталкиваться с несправедливостью, горем, обидой, неудачами, он сейчас же выдвигал свою излюбленную теорию и закрывался ею от всех невзгод жизни, как щитом. Выругает его столоначальник, выругает грубо, обидно, несправедливо, — Захар Степаныч вспыхнет, готов ответить дерзостью, но сядет за свой стол, сделает папиросу, закурит и вспомнит, что на столоначальника так же неразумно сердиться, как на головастика, его родоначальника, что брань, грубость, насилие не больше, как пережиток,

унаследованный от зоологических предков. И как только поделится Захар Степаныч своим табаком и этими соображениями с кем-нибудь из товарищей, у него разом станет легче на душе.

Но как ни успокоительно действовала на Захара Степаныча эта философская оценка жизненных явлений, он немало претерпевал за нее. Стоило ему, по обыкновению, начать: «Дарвин был не нам чета человек, высокого был ума человек, а вот додумался же...» — стоило ему так начать, как на него со всех сторон накидывались:

— Да вы что же это себя умней всех считаете?.. Зачем же вы тогда в канцелярию шли? Ишь ты, от обезьяны!.. Служит на государственной службе, пенсию будет получать, и на тебе!.. С жиру, батенька, беситесь... Вот дойдет до начальства, так такую вам обезьяну сотворят, что и «ох» не скажете! Чина-то до второго пришествия, будете ждать...

Захар Степаныч сдержанно и с сознанием своего превосходства улыбается, но последнее замечание в глубине души больно колет его. Он давно отслужил десятилетие, необходимое для получения первого чина человеку недворянского происхождения и без образовательного ценза, но до сих пор его не представляют. Впрочем, и в этом случае Захар Степаныч ухитряется утешиться эволюционной теорией.

— Захар Степаныч! — опять разносится по канцелярии.

Захар Степаныч делает вид, что не слышит, и, пуская носом дым, продолжает писать. Он по голосу чувствует, что Никита Иваныч хочет загладить свою вспышку, и заранее знает, какой произойдет разговор. Сначала Никита Иваныч покажет какую-нибудь незначущую бумажонку для вида, а потом расскажет, что сегодня он почти всю ночь не спал, мучил кашель, что младший мальчишка расхворался, что утром он успел уже поругаться с женой. Но Захар Степаныч продолжает работать, испытывая приятное ощущение удовлетворенной мести, так как знает, что Никита Иваныч теперь мучается. Потом ему становится жалко Никиты Иваныча: он вспыльчив, но не потому, что зол, а болен. И Захар Степаныч подымается и идет к нему, а Никита Иваныч смотрит на него ласковыми, добрыми и благодарными глазами и говорит:

— Захар Степаныч, кажется, мы исполнили вот эту

бумажонку?.. А, знаете, я ведь промаялся целую ночь сегодня; черт ее знает, отчего это такое, скипидара на нюхался, тогда только и заснул...

И Никита Иванович рассказывает про болезни ребятишек и про строптивость своей супруги. Захар Степанович вытаскивает свою знаменитую бумажку с табаком, они делают папиросы, курят, и Захар Степанович идет к себе на место.

Ремингтоны попрежнему сыплют сухой горох, носится шепот, шуршанье, слышится кашель, зевота, вялый несвязный разговор, шелканье счетов, звук отодвигаемого стула, скрип сапогов. Писец, стоя у одного из столов, читает оригинал доклада, копию которого, с пером в руке, проверяет высокий худой и длинный чиновник — Мухов. Писец читает механически, быстро перебирая языком, губами, монотонно, без понижений, без повышений, как читальщик над мертвым. Эти звуки постепенно выделяются, растут, подавляют своей тоскливостью, унылой монотонностью. И чудится желтое пламя свечей, стол, на столе покрытое белым, неподвижное холодное немое тело. Никита Иванович мысленно заглядывает под покров и видит желтое заострившееся лицо... Никиты Ивановича. Ему неприятно, что такие мысли лезут ему в голову, и он усиленным воли старается представить под покровом чье-нибудь другое лицо, например, Карпа Спиридоныча или Мухова. Но ни костлявое лицо Карпа Спиридоныча, ни строгое, серьезное лицо Мухова никак не укладываются в воображении, и вместо них упрямо и настойчиво выступают желтые обострившиеся черты лица Никиты Ивановича.

— Тьфу, черт!.. Иванов, да ты по мертвому, что ли, читаешь?..

Ровное, монотонное бормотанье прерывается. Писец недоумевающе и конфузливо смотрит на Никиту Ивановича, но Мухов сердито дает отпор:

— Я вас попрошу не мешать... Что вы мешаете?.. ведь не за вашим столом читаем... Читай! — сердито кричит он на писца — и таким тоном, в котором ясно слышится приказание читать именно так, как прежде.

Писец начинает читать.

— Черт знает что такое, ведь это работать нельзя: не то в канцелярии, не то в мертвецкой... Нет, будь она проклята совсем, эта служба, дотяну до весны, уйду, ей-богу, уйду. Скажите, пожалуйста, ну, какой смысл торчать мне

в этом болоте, ну, какой смысл? Ведь тут одуреешь, или сохнешь, или идиотом сделаешься... Ведь это черт ее знает что такое!..

Это — обычные ламентации Никиты Иваныча, все к ним привыкли, и никто не верит, что он уйдет. Двенадцать лет тому назад Никита Иваныч по независящим обстоятельствам вышел с третьего курса университета и приехал в родной город. Надо было есть, и он временно, чтобы осмотреться, прикомандировался в канцелярию. Каждый день в девять часов он приходил сюда, с удивлением присматриваясь к этой чуждой и такой странной после университета обстановке, к этим чуждым людям. Что больше всего поразило Никиту Иваныча — это то, что все чиновники были страшно похожи друг на друга: одинаковые землистые лица, одинаково болтающиеся на нескладных фигурах потертые, запятнанные мундиры; одни и те же разговоры, смех, анекдоты, брань, ссоры. Печать уравниения лежала на всех лицах, и часто Никита Иваныч здоровался с Карпом Спиридонычем, разумея при этом Павла Иваныча, и наоборот. Второе, что поразило Никиту Иваныча, — это привычка к той обстановке, в которой все работали. Чиновники относились к Никите Иванычу сдержанно, вежливо. Никита Иваныч писал бумаги, не особенно стараясь, чувствуя себя здесь временным гостем, как будто Никита Иваныч ехал по большой дороге, задержался на постоялом дворе, ему отвели душную комнатку, и, хотя было тесно и грязно, он не думал об этом, а думал о том, как приедет, наконец, на место назначения и как там пойдет жизнь.

Но трогаться с постоялого двора все не приходилось. Не попадалось подходящей работы, да и Никита Иваныч, чувствуя себя до известной степени обеспеченным, был разборчив. Проходили недели, месяцы. У Никиты Иваныча происходили иногда столкновения с начальством из-за упущений, невнимательности, незнания. И хотя он не придавал этому значения, — не сегодня-завтра всему этому должен быть конец, — все-таки гордость заставляла относиться внимательнее, присматриваться к делу, отдавать ему часть своих мыслей, дум, сосредоточенности, чтобы не сделали упрека, что даром получает двадцатого жалование. И по мере того как он входил в интересы канцелярии, он стал различать своих товарищей. У каждого было свое лицо, свое выражение, свой голос, свои инте-

ресы, горе, беды, особенности и характеры. И обезличивавший всех мундир на каждом сидел по-особенному.

Как только различил Никита Иванович в каждом из своих товарищей человека, он вдруг почувствовал неприятность своего одиночества в канцелярии. Его молодость, а главное, его университетское образование мешали сближению с товарищами, и Никита Иванович раздвоился: один Никита Иванович рвался из канцелярии, думал о настоящей жизни, о том, что он что-то должен делать, что-то особенное и важное, следил за текущей литературой, читал газеты, журналы. Другой, слушая и рассказывая недвусмысленные анекдоты, перебирал шансы такому-то чиновнику попасть туда-то, получить повышение, расположение начальства; хлопал по животу весельчака Алексея Алексеевича. Раз два в неделю принимал участие в складчине; незаметно пробирался в комнату сторожа, где среди пустых склянок из-под чернил, среди пахнущих керосином ламп разложена была на бумажке колбаса, тарань, селедка и стояли бутылки с водкой и пивом; торопливо выпивал, закусывал колбасой, отрывая ее по кусочку руками, и возвращался в отделение с веселыми глазами, разговорчивый и общительный,— словом, делал все, чтобы заставить товарищей забыть свое превосходство, разделявшую их разницу умственных интересов. Раз приходится, хотя и временно, быть среди этих обездоленных людей, думал Никита Иванович, приходится и жить с ними общей жизнью, и если нельзя их поднять до себя, надо спуститься до них, чтобы не оскорблять сознанием своего превосходства их, и без того всем и всюду оскорбляемых. Да и все это только чисто внешняя приспособляемость, сам же Никита Иванович остается тем же самым Никитой Ивановичем, что и прежде, со всеми своими интересами и со всем складом своей внутренней жизни. Ведь каждую минуту, раз он захочет, он может уйти отсюда. Так думал Никита Иванович,— а время шло.

Ему дали чин. Это в одно и то же время вызвало полупрезрительную усмешку и, в глубине души, хотя он сам не хотел сознаться себе в этом, приятное сознание, что он стал выше, лучше в глазах других. В то же время чин его испугал. Как, значит, он остается здесь навсегда? Нет, нет... Он бросился писать знакомым, стал энергичнее искать иную работу, — а время шло.

Счастье Никите Иванычу представлялось в виде молодой, свежей, с румянцем на щеках подруги. Они будут вместе работать, читать, у них будут общие интересы, общая цель в жизни, и они будут крепко любить друг друга. И он страстно хотел и искал этого счастья, но оно пока не приходило. Совершенно случайно он встретился с одной модисткой, легкомысленной, довольно вольной девушкой. Молодость взяла свое, и результатом этой встречи оказался ребенок. Это событие оглушило Никиту Иваныча. «Как! что же это такое?.. Да ведь я совсем иначе хотел жить, совсем по-иному... Постойте, что-то не то, и это не так... тут недоразумение... ведь я же хочу, я имею право на ту, на настоящую жизнь, на счастье!..» — кричал он внутренне кому-то, от кого, казалось, зависела его судьба, — но жизнь, с глупой дурацкой улыбкой, слепая, ничего не разбирая, шла вперед, закрепляя все, что казалось временным, преходящим, мимолетным, не оставляя возврата. Нельзя было мать с ребенком выбросить на улицу, и Никита Иваныч женился. Пошли дети, модистка расплылась в мелочную, сварливую бабу, и чем серее становилась жизнь, тем труднее было оторваться от канцелярии, чем больше он завязал там, тем с большей страстностью он повторял себе: «Уйду... уйду... уйду, не могу больше...»

И ему казалось, что семья, ребятишки, ссоры с женой, чиновники, бумаги, начальство, двадцатое число, — что все это так себе, пока, временно: точно он был на бивуаке, в темноте белели палатки, и ждали только рассвета, чтобы сняться и двинуться вперед. Но время шло да шло...

Уже бородой оброс, лицо посерело, пришла и болезнь. И просыпаясь ночью в расслабляющем поту, он, с ужасом глядя в ночную темноту, перебирал в голове, как все это случилось постепенно и незаметно. Сначала молодость, сила, здоровье, университетская жизнь, товарищи, планы будущего; потом катастрофа, приезд в родной город, канцелярия, чиновники, желание не оскорблять их своим образом, женитьба, дети, недостатки... И каждый день, каждый день канцелярия отрывала и уносила его по кусочку. Жизнь не дарила ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты, — она все ставила в счет. У него стало такое же серое лицо, как у других, так же болтался на нем мундир, так же трудно было отличить его свежемю глазу от других чиновников. То, что, как клещами, держало

чиновников в канцелярии, — полная отрезанность от жизни, атрофия способности приспособления, — как болезнь, вошло и в Никиту Иваныча. И чем больше он думал, тем яснее понимал, что ему не вырваться. Он сидел на постель, дрожащими руками шарил по столу, зажигал свечу, делал папиросу и торопливо курил, пока голова не начинала кружиться.

Прежде, когда Никита Иваныч только что попал в канцелярию и все ему казалось так ново и необычно, он относился к чиновникам, к этому забитому, загнанному, запуганному люду в высшей степени бережно, опасаясь лишним словом, неловким выражением причинить боль. Чиновники относились к нему недоверчиво, злобно, чувствуя в нем чужого человека; теперь же, когда он год за годом терял все, чем прежде отличался от них, он начал относиться к ним свысока, третировал и постоянно раздражался, а они ему прощали, как больному товарищу, и он это видел, еще больше раздражался и твердил, что уйдет.

— Уйду, уйду, уйду... не могу больше! Все живут, все работают по-человечески, по-людски, а у нас все не по-людски... Ну, что такое чиновник? Если захотят кого обругать, так обзовут чиновником... У чиновника нет ни самолюбия, ни воли, ни уважения к себе, ни чувств своих собственных, ни жизни своей, а есть только начальство. Как начальство прикажет, так чиновник и думает... Он и детей родит только по разрешению начальства... И за все за это — нищенское вознаграждение... Нет, дотяну до лета, а там уйду...

— И чего вы, Никита Иваныч, лазаря поете?.. Вот уж не люблю, — говорит, раздражаясь, высокий и худой Мухов, всегда с сердитым лицом и нахмуренными бровями, точно он только что поругался и все никак не может успокоиться, — не люблю, как это начнут выламываться, как коза на веревке... Служишь — и служи, получаешь жалованье — молчи!

— Да уж вы не заноситесь, Павел Иваныч, пожалуйста...

— Нет, вы, Никита Иваныч, позвольте, — подымается во весь свой длинный рост Мухов, играя мускулами лица, точно готовый не то заплакать, не то нанести оскорбление действием. — Мы, положим, не воспитывались в университетах, — Мухов делает особенное ударение на слове «университетах», как будто то, что он употребляет

это слово во множественном числе, особенно оскорбительно для Никиты Иваныча, — но, между прочим, можем спросить вас, чем хуже чиновник всякого другого служащего, все равно — возьмите контору какую-нибудь, магазин, что ли, учительское место или там еще чего? Да там хозяин-то похлеще всякого начальства будет, там из вас всю душу вымотают! Вы говорите, тут начальство; а перед хозяином-то не навтыяжку, что ли? Не по его приказанию детей родят?.. Тут что: до трех часов отзвонил — и домой, и никто тебя не спрашивает, а там все двадцать четыре часа у хозяина на счету: он тебе заплатит да свои денежки соком из тебя возьмет... А то чиновник, чиновник... Что ж, не такой труд, что ли? Ведь работают, трудятся люди, чего же их охаивать да насмехаться?..

— Вы меня не понимаете, Павел Иванович, я разве о том... Я о том, что самая атмосфера тут, дух самый...

— Да что вы мне рассказываете... что я маленький, что ли? не понимаю?.. Дух... дух вон у козла тоже есть... эка, дух!..

— Эх, господа, чего вы горячитесь,—заговорил Захар Степаныч, — ведь это все один переход, эволюция называется. Вот взять хоть траву. Отцветет она и согниет. Вы думаете, все тут? Нет, она не пропадет, она согниет, а почва через то оплодородится, и на место ее вырастет новая трава, выше и гуще. Так и мы. Действительно, скверное наше житье, ну только мы уйдем, а после нас людям лучше станет...

— Ну, поехала, повезла... Кто про что, а он про Ерему... Вот за твою эволюцию тебе и чина не дают!

— Ну, что ж, что не дают, — Захар Степаныч при этом добродушно улыбается, снисходя к их слабости, незнанию, невежеству, — и не дают! Только другой на моем бы месте давно петлю себе приготовил или с кругу спился, а я вот, слава тебе господи, живу и пожить думаю, и веду себя, дай господи каждому, вот чин получу и женюсь, и дети будут, воспитывать их буду, любить... Только вот чина этого самого не дают... и пусть себе не дают, потому это закон природы, и ежели бы я не знал, что это закон природы, я бы давно с кругу спился... Закон-с природы-с... не так, что ли?

— Пошел писать...

— Вот вам и писать. Я вот знаю, что законы в природе и все по ним происходит, и от этого живу себе спокойно... Чина не дают... другой бы на моем месте крутился, кидался бы во все стороны, а я себе ничего, что ж, подожду... А у вас вот ничего нету такого, нет никакой такой точки, вот и плачетесь и скулите, и не на чем вам душой вздохнуть... Да!

— И о чем вы, братцы, ей-богу! Я вам вот что скажу: хоть ты чиновник, хоть начальство, хоть ты служающий или хозяин,— все одно одинаково без бабы не обойдется...

И, положив короткие руки на трясущийся живот и прикрыв маленькие заплывшие глазки, кругленький, пузатенький Емельяныч захохотал самым искренним образом.

Все засмеялись.

III

Каждый день сторож Михалыч к десяти часам подавал местную газету. Так как ближе всех к дверям сидел Захар Степаныч, Михалыч, отвесив поклон, клал газету к нему на стол.

В отделении строго соблюдалась субординация, и помощник столоначальника не смел читать газету раньше столоначальников. Тем не менее, Захар Степаныч аккуратно каждое утро важно разворачивал номер, взглядывал на заголовок газеты, на заголовки отделов: «телеграммы», «внешние известия», «внутренние», «хроника», и, прежде чем на него успевали зарычать, небрежно, точно он просмотрел все, что ему было нужно, складывал и передавал ближайшему столоначальнику. Захар Степаныч не успевал прочитать и одной строки, но был удовлетворен и аккуратно каждый день проделывал то же самое.

Был канун Нового года. Зимний день тускло глядел сквозь занесенные снегом окна. Михалыч с поклоном положил газету на стол к Захару Степанычу. Тот развернул, проделал все, что обыкновенно проделывал, и положил на стол Мухову. Мухов взял, не спеша развернул и стал медлительно и со вкусом читать. Прочитал правительственные распоряжения, внешние и внутренние известия, телеграммы, стал читать местную хронику и вдруг сделал

огромные глаза и посмотрел на всех так, как будто видел всех в первый раз. Он прочитал еще несколько раз одно и то же место, не доверяя своим глазам.

— Господа... господа, нас пропечатали!..

Все подняли головы и перестали шуршать перьями.

— Будто?

— Ей-богу.

Мухов не любил шутить, и чиновники потянулись к нему.

— Где? Где? Почему вы знаете, что это про нас?

— Как же, вот глядите.

— Читайте... Читайте...

Мухов стал читать, а все слушали с напряженными, или улыбающимися, или нахмуренными и испуганными лицами. В маленькой заметке местной хроники сообщалось о тех условиях, в которых приходилось работать чиновникам некоторых учреждений в городе: низкие потолки, теснота, темнота, сырые грязные стены, слепые окна, тяжелый густой воздух, и даже необходимость для некоторых работать и днем при лампах. Ничего особенного, но все разом решили, что это относится именно к этому отделению. И читали с захватывающим интересом, с бьющимися сердцами. То, к чему они привыкли, что было обычно, неизбежно, буднично, неустранимо, то вдруг в одно время будут читать, представлять себе сотни, тысячи людей, — людей совершенно незнакомых, которых они никогда не встретят, не узнают, и которые их никогда не встретят. Это-то и заставляло особенно волноваться, это почему-то и было страшно важно и необычайно.

Библейская история рассказывает, что первые люди жили счастливо и ходили в саду нагие. Они проводили вместе все дни, шло время, и они не замечали его. Однажды змей, свесившись с дерева, сказал им: «Нагота ваша ничем не прикрыта». Они взглянули друг на друга и увидели, что они голые. Им стало стыдно.

Десятки лет люди служили, работали и, нагнувшись над столами, как быки ярмо, несли свою постыльную работу и не замечали этих темных заплесневелых стен, низко давившего потолка, не замечали, что за стенами яркий солнечный свет, а здесь люди работают при лампах, и красноватый огонь сквозь закопченное стекло освещает их поблеклые, землистые лица, не замечали, как уходила жизнь, и вдруг посторонний, чужой, незнаемый человек

пришел и бросил им несколько строк, и они оглянулись на себя и с ужасом увидели наготу своей жизни, и им стало стыдно, как первым людям, стало больно и горько.

— Ну, братцы, и здорово описал.

— Начальство теперь нос закрутит.

— Что значит литератор, образованный человек, как по косточкам разберет...

— Господа, надо обмыть статью...

— Посылай.

— Что же я один, давайте-ка...

Чиновник с шапкой стал обходить всех. Кто клал двугривенный, кто четвертак, а кто и гривенник. Через полчаса у всех, заглядывавших в комнату сторожа, лица были красные и глаза веселые и добрые.

— Господа, — возгласил перед уходом Захар Степаныч, — завтра новый год. Непременно надо сегодня собраться да обмыть хорошенько статью. И новый год встретить по примеру прошлых лет.

— Идет.

Условились собраться в «Золотом Ягоре».

IV

Собралось все отделение.

Бутылки, селедки, шамая, сардины, запах номера гостиницы, испитое, с отпечатком «чего изволите-с» лицо официанта, оживленные лица компании — все говорило о приподнятом настроении. Пили, говорили, чокались, проливали вино, хохотали, встречали новый год, «обмывали» сегодняшнюю газетную статью и были в радужном, радостном настроении.

Все чувствовали себя так, будто изо дня в день шли по одной и той же пыльной и скучной дороге, неизвестно куда и зачем; кругом простиралась такая же скучная, плоская, унылая степь; сегодня дошли до станции, и им говорят: «Ну, господа, слава богу, теперь по-новому пойдут... С Новым годом!..»

И все с радостными, влажными от возбуждения лицами встречали новое и неизвестное в грядущем году, полное чреватых событий благодаря сегодняшней статье.

Захар Степаныч, покачиваясь, блаженно улыбаясь, то подымая, то опуская брови, смотрел на облезлые черные

часы; длинная стрелка маленькими скачками подбиралась к короткой, которая стояла на двенадцати.

— Господа, рюмки, рюмки!.. Скорее, скорее, сейчас!..

Все, торопясь, звеня, проливая вино на мокрую, запятнанную, залитую скатерть, наполняли рюмки, стаканчики, бокалы водкой, вином, пивом, потом взяли в'руки и стояли с сосредоточенными, важными, полными торжественного ожидания лицами, удерживаясь от покачиваний; вино колебалось в рюмках и играло отблеском свечей.

И среди тишины, среди густого спиртного запаха раздался голос Захара Степаныча, торжественный и важный:

— Двенадцать! Ура!..

— Уррра-а!.. Уррра-а!..

— Господа!..

— Господа, позвольте...

— Нет, уж позвольте мне...

— Нет, уж мне позвольте: я постарше вас.

— Урра-а!..

— Емельян, сыпь в рюмку...

— Господа!..

— Дай обнять... поцелуемся, брат...

— Господа, позвольте мне!.. Вот новый год... слава богу, дожили... Мне, братцы, тридцать девятый год пошел... То-то вот я говорю, ежели бы начальство об нас заботилось... Нет, по совести... а то что ему? Ему хорошо, какое ему дело до нас... по совести... а чиновники себе как хотят... Я так думаю, на нас обратят в этом году внимание... Ведь это что такое? В канцелярии прямо задыхаешься, невозможный воздух... Погреб, ведь мы полжизни тут проводим... Вы думаете, это зря в газетах стали писать? Не-ет, шалишь, это, значит, в высших сферах разговор пошел, а то бы тебе так и пропустила цензура такую вещь... раззевай шире! Нашему-то начальству что! Сидит себе в отдельном кабинете, ему-то хорошо...

— Постой, ты, брат, того... ты, брат, не дюже,— испуганно озираясь, дернул его за рукав сосед, — может дойти, знаешь...

— Э, пусти!.. А содержание? Что такое? — нищета!.. Ну, господа, в этом году, кажется все разрешится: я слышал, новые штаты будут, и вообще на нас начальство обратит внимание... Если уж писать стали, это дело в ходу, это, значит, мы на виду. С Новым годом!.. С новым счастьем!..

— Урра-а!.. Урра-а!..

В горло полилось вино, пиво, водка.

Налили опять.

— Нет, господа, зачем... зачем начальство трогать? — проговорил, держа в одной руке рюмку, а другой вытирая мокрые усы, толстенный Емельяныч. — Не будем касаться начальства... начальство пусть себе там... не нашего ума дело. Вот жена у меня, фу-у-у, да и славная женщина! Нилочка... Ну, только действительно холодная... Так-эдак скажешь ей: «Нилочка! А?..» А она: «Чего?» и подшморгнет носом... Ну, только и хозяйка, аж удивляешься. Я ей все говорю: «И чего ты такая, хозяйка?..» Холодная... так просто... как мешок... ей-богу! Ей все равно... Я ей иной раз говорю: «Отчего ты такая холодная? тебе все равно, что я, что энта табуретка... ей-богу». А она подшморгнет носом: «Чего?..» Ну, с Новым годом!.. Фу-у, да и женщина! Я теперь вот приду, скажу: «Ну, Нилочка, новый год...» А?.. ей-богу!.. Ну, с Новым годом, с Новым годом, с новым счастьем, ура!..

— Уррра-а-а!..

— Позвольте вас поцеловать...

— Нет, братцы, постойте, постойте, что я вам скажу... — говорил, стараясь покрыть голоса, молоденький, новоиспеченный, с мокрым, пьяненьким лицом чиновник, — постойте, главное, что у нас из окон канцелярии ничего не видать, кроме мостовой, аллеи да облупленной стены... Подойдешь к окну: мостовая, аллея да ободранная стена... Ах ты, господи боже мой!.. Главное, скучно... Хоть бы веселый дом против построили... с красным фонарем... Ха-ха-ха!.. Все-таки это — подошел бы к окну, посмотрел бы, посмеялся... дескать... там... девицы... все такое... ей-богу!.. А то что такое?.. Ежели бы из окна да видать чего-нибудь... а то мостовая, аллея да стена облупленная... Ну, с Новым годом, господа!.. Я думаю так: с нового года веселей пойдет... С Новым годом!..

— Уррра-а!..

— Человек, еще дюжину пива.

— И водочки пару бутылочек.

— И закусочки.

Гой, да-а ве-е-се-е-ли-и-тесь, хра-брые ка-а-заки!..

— Пой!

Э-э... оэ... оо... оэ... э... э... эоо!..

— Братцы, а за самое главное не пили...

Э... оэ... эо-о... а-а-а... оэ... о-о!..

— Стой, господа, помолчите... Емельян, заткни глотку!.. За самое главное не пили: за того благодетеля, который об нас постарался, — за сочинителя, братцы!

— Уррра-а!..

— Дай ему бог здоровья...

— Уррра-а!..

— Хороший, должно быть, человек...

— Уррр-а-а!..

— Непременно женатый и, небось штук семь детей, потому сразу вошел в наше положение...

— Если бы знать, кто такой, пригласили бы да покачали бы на руках... Братцы, наливай за сочинителя!

— Уррра-а!..

Чокались, наливали, пили, разливали, кричали, обнимались.

— Карп Спиридоныч, теперь ваша очередь: скажите речь.

Карп Спиридоныч, длинный и нескладный, в ужасе заморгал глазами: во всю жизнь он не сказал подряд больше двух слов.

— Карп Спиридоныч, скажите вы...

— Скажите, скажите, скажите!.. — раздавались голоса.

Карпа Спиридоныча подталкивали, подымали со стула, тыкали кулаком в бок. Он ежился, двигался по стулу, испуганно улыбаясь узкими бескровными губами, голубые добрые глаза делались совсем круглыми, обтягивавшая костлявое лицо кожа шевелилась набегавшими вокруг большого рта и глаз складками.

Он заморгал безволосыми веками, высоко поднял облезлые брови, потом усиленно замотал губами и языком, точно раскачивая и усиливаясь пустить их в ход, и, наконец, заикаясь, приподымаясь над столом своим длинным, рыбьим, согнувшимся под углом телом, проговорил:

— Я... я... н... не знаю, ч... что сказать...

— Говорите, говорите, говорите!..

— Нельзя, должны сказать... все говорили...

Его толкали, не давали садиться, подставляли на сиденье стулаверху палец и кололи снизу, когда он пытался садиться. Карп Спиридоныч дергался, умоляюще глядел

на всех, наконец, разогнулся и опять пустил в ход губы и замотавшийся язык. Все примолкли, сдерживая готовый прорваться смех; а он, округлив еще больше голубые глаза, проговорил:

— В... в... ввсее... п... попрежнему... все п... попрежнему...— и, умоляюще, испуганно поглядев на всех, сел, торопливо моргая безволосыми веками и еще напряженнее улыбаясь тонкими, длинными, почти до самых ушей, губами.

Водворилась тишина. Улыбки застыли на влажных, приготовившихся смеяться лицах.

«Все попрежнему... все попрежнему... попрежнему... попрежнему...»

Да, да, да, все попрежнему, ничто не изменилось; в сущности ведь никакого нового года нет, ничего нового, никакого перелома, а бутылки, колбаса, копчушки, селедки — это можно и в пятницу, и в воскресенье, и первого, и двадцатого, и двадцать первого, и в декабре, и в январе, и в мае.

«Все попрежнему...»

Та же жизнь, та же канцелярия, те же облупившиеся стены, стол, начальство, бумаги, пыль на столах. Так же надо приходиться в девять, уходить в два: так же дожидаться следующего двадцатого числа и страдать гемороем и знать, что на улице те же понурые извозчики, те же прохожие, и никогда, никогда не подойдешь к окну с сознанием, что увидишь что-то другое, другую улицу, другие здания. И вся жизнь кажется длинным и узким коридором, и невозможно свернуть, невозможно ни на одну минуту выбраться, как будто идешь в глубокую грязь по взрыхленной колеями и лошадиными следами чернеющей дороге и чмокаешь большими, отяжелевшими от сырости сапогами...

Все, все останется попрежнему, по-старому. Новый год... Но ведь новый год — ложь и обман, ведь никакого нового года нет, идут все те же старые дни.

Впрочем, *одно* может быть ново. В прошлом году вот за этим самым столом со всеми встречал новый год Степан Семеныч. Он пил, смеялся, кричал «ура» и поздравлял всех с новым годом, с новым счастьем; а теперь его нет, и никто никогда не услышит его голоса.

А когда на будущий год будут встречать новый год, кого-нибудь и из них не будет за этим столом.

Жизнь идет вперед слепо, тяжело и страшно: никуда нельзя свернуть, нет и не может ничего быть нового.

Все сидели с искривленными улыбками, и волосы плоско прилипали к мокрым лбам.

Но это продолжалось мгновение. Как бы наверстывая, раздался дружный хохот:

— Браво... браво... браво!.. Ай да Карп, ай да здорово, ай да речь отмочил!.. Ха-ха-ха!.. недаром сидел да молчал: высидел, как петух яйцо...

— Сам длинный, а речь с хворостинку...

— Это ничего, братцы: длинные мужчины любят маленьких бабенок.

— Ха-ха-ха!.. Ххо-хо-хо!..

— Маленьких да кругленьких... ххо, хо-хо!..

— Урра-а!.. С Новым годом!..

Чиновники пили, ели, кричали «ура», поздравляли, целовали друг друга, сидели, обнявшись, по диванам, в расстегнутых мундирах, с побледневшими, мокрыми лицами и, покачивая свесившимися головами, пели усердно и невпопад. Разошлись уже под утро.

V

Хмуро и неприятно глянули угрюмые, закоптелые стены и тусклые окна канцелярии после Нового года. Нехотя, кряхтя садились чиновники за столы, без надобности перебирая бумаги, почесывая поясницу, зевая и крестя рот.

Но когда собрались все, когда каждый увидел вокруг все те же серые, испитые, землистые лица, те же тощие согнутые фигуры в потертых мундирах; когда смутный говор, кашель, харканье, шорох бумаг заполнили огромное здание и сквозь этот шорох немолчно и надоедливо застрекотали ремингтоны,— все почувствовали, как будто опять закрипели, покачиваясь, возы, впереди потянулась пыльная скучная дорога, скучно раскинулась плоская степь... И все шли за возами, неизвестно куда и зачем, и ничего впереди не маячило, и было кругом все просто и обыденно. Опять все почувствовали себя отгороженными, отделенными от новизны, от изменчивости сложной, непонятной, запутанной жизни, что билась за этими толстыми стенами, почувствовали себя частицей чего-то огромного, бесформенного, могучего.

Все пошло попрежнему, по-старому...

Дружное шарканье ног покрыло шуршанье бумаг и стрекотание ремингтонов; все, как по команде, поднялись, опустив руки по швам. Вошел начальник. Он держал газету, лицо было хмуро, левый глаз прищурен, что служило дурным признаком. Из дверей выглянули испуганные лица писцов. Надоедливое стрекотание ремингтонов смолкло; все притихли.

— Что это такое? — раздался резко и странно, среди наступившей тишины и смолкших ремингтонов, сердитый окрик. — Что это значит?

Все глядели, не будучи в состоянии оторваться, на левый сощуренный глаз. Что-то страшное слышалось в этом непонятном вопросе, что-то чуждое, необычное врывалось в тихую канцелярскую жизнь.

— Я спрашиваю, кто из вас... у кого хватило бесстыдства... кто из вас вот... это вот?.. — Он щелкнул пальцами по газете.

И тогда разом всем стало понятно. Страх холодными иглами проник глубоко в грудь сдерживавших дыхание людей. Для всех вдруг стало ясно то страшное преступление, которое было совершено, и все с изумлением, с ужасом глядели друг на друга. Тогда в этой придавленной темным потолком комнате, как приговор, прозвучало:

— Сейчас меня вызывал его превосходительство и категорически заявил: если через неделю не будет разыскан среди вас тот, кто дал сведения и указания в газету, будет уволено все отделение.

Начальник ушел. Водворилась мертвая тишина. Не слышно было ничьего дыхания. Зловеще глядели тяжелые, сырые каменные стены; неподвижно висел каменный потолок над ровным слоем табачного дыма, ни звука не доносилось из помещений писцов. Что-то давящее, новое и страшное осталось с уходом начальника в этой полутемной комнате, и ощущение однообразия, монотонности, привычки нарушилось и пропало. Казалось, сюда на мгновение ворвалась та непонятная, чуждая, бившаяся за стеной жизнь, ворвалась и отхлынула, оставив роковую задачу.

Резким, сухим металлическим звуком опять застрекотали ремингтоны; все столпились и разом заговорили, не слушая и перебивая друг друга. Серые, землистые лица покрылись пятнами румянца раздражения и злобы.

— Это, господа, что же такое,— заговорил высокий и сухой Мухов, играя мускулами лица и сердито дергая левой бровью.— Что же это такое?.. Это, господа, нечестно... Честно, что ли, всех подвел? Все отвечать будут... Подвел, ну, и признайся... Что же всем отвечать за одного?.. Это товарищески разве?

Точно из головы всех вырвалась мысль, выраженная этими словами. Да, да, да, отыскать, разыскать виновника! Пусть он признается, пусть добровольно признается,— нельзя одному топить всех. Но где же, где он, кто он? И все с раздражением, со злобой, с затаенной ненавистью, подозрительно заглядывали друг другу в глаза.

Кто же, кто из них?.. Как теперь подойти к товарищу, покурить, побеседовать, расспросить про семью, рассказать про своих детишек, пошутить, посмеяться, спросить совета насчет доклада? Как это сделать, когда, быть может, тот, с кем в эту минуту разговариваешь, он-то и виновник той беды, что рухнула на всех?

Работа валилась из рук, чиновники без толку рылись и перелистывали дела и с ожесточением курили; из-за дыма с трудом можно было различать лица. Начальник то и дело звал к себе столоначальников и распекал за небрежно и неверно составленные доклады.

То у одного, то у другого стола собирались кучкой и вдруг ожесточенно нападали на кого-нибудь.

— Это вы, Захар Степаныч!.. Кому же больше, как вам?

— Постойте, какое вы имеете право,— говорит, бледнея и подымаясь, Захар Степаныч, готовый кинуться на первого, кто осмелится заикнуться о том, что он имеет сношение с газетой.

— Конечно, вы,— кому же больше?.. Недаром у вас люди от обезьян происходят, а из себя ученого корчите...

— Что-о?..

— А вы думаете, я не помню, как вы два года назад в гостинице с репортером водку пили?..

— Нет, вы уж прямо говорите: по-вашему, и начальник от обезьяны происходит?

— Ежели вы порядочный человек, вы должны признаться... чтобы товарищи безвинно не страдали...

Захар Степаныч видит вокруг возбужденные, злобные лица, сверкающие глаза, раздувающиеся ноздри. Он чувствует, что у него на шее затягивается петля, что-то бес-

смысленное, нелепое давит его, нет выхода, — он вскакивает и что есть силы бьет вставку о стол. Осколки пера и вставки разлетаются во все стороны, разбрызгивая чернила, а Захар Степаныч кричит не своим голосом.

— Я... я... если осмелитесь оскорблять... я вам морду разобью!..

Это кажется убедительным, и все расходятся на свои места. Захар Степаныч дрожащими руками вправляет перо в новую вставку.

Никто не смотрит друг другу в глаза. Утром, когда приходят, еле здороваются, сейчас же отворачиваясь. До двух часов успевают раз десять переругаться, нападая и приставая то к одному, то к другому.

То, что связывало их десятки лет, разом порвалось. Одна и та же обстановка, одна и та же жизнь, интересы, скука, монотонность, подчинение, привычка друг к другу, безнадежность когда-нибудь переменить жизнь, товарищество,— все пропало, исчезло, точно вычеркнулось. Люди, проработавшие по десяти, по пятнадцати, по двадцати лет вместе, с удивлением, со злобой, с ненавистью глядели друг на друга, точно видели друг друга в первый раз. Тонули все. Всем одинаково предстояло очутиться на улице беспомощными, бессильными, ни на что и никуда не годными, никому не нужными. Не на кого было опереться, не от кого было ждать помощи, совета, слова участия,— все одинаково гибли. И от этого порвалась старая связь, привычка, дружба. У людей ничего не осталось. Так бывает на разбитом судне: измученные люди борются с бурей, с волнами, с темнотой, поддерживаемые сознанием общей борьбы. Но вот роковой крик проносится среди волнуемой, крутящейся над ревушим морем темноты: «Спасайся, кто может!» И все бросаются куда ни попало, отбиваясь руками, зубами от цепляющихся за взмокшую одежду тонущих товарищей.

Часы занятий в это ужасное время тянулись убийственно медленно; но дни пробегали с быстротой, от которой становилось страшно. До срока оставалось два дня. Все ходили по канцелярии с осунувшимися, постаревшими на несколько лет лицами, с ввалившимися, остро сверкавшими, как у горячечных, глазами и говорили хриплыми, точно после пьянства, голосами.

Два дня!..

Слышался обычный шорох бегавших по бумаге перьев, стрекотали ремингтоны. Никита Иваныч поднял голову и посмотрел на эти осунувшиеся лица, на стоявший синеватыми слоями табачный дым, на безучастно глядевшие, подернутые темною плесенью стены, на равнодушно давивший всех неотвратимо низкий потолок, и острое, яркое сознание, что все кончено, точно впервые ожгло его.

Как, два дня! всего два дня... А дети? а семья? а пенсия? а болезнь? а наградные? а двадцатое?.. Но ведь постоите... нет, нет, это не то, это не так, *этого не может быть!*.. Этого не может быть потому, что только теперь он увидел, что это и была жизнь, та самая жизнь, которая только раз дается человеку и никогда не повторяется.

И ему стало жаль этой настоящей, а не выдуманной, какой-то ожидаемой, несуществующей жизни. Он вспомнил, что здесь, именно здесь у него пробился первый седой волос, здесь ушла незаметно, невозвратно молодость, здесь у него впала, вдавилась ямой грудь, здесь выступили и приподняли желтую кожу угловатые кости, здесь завяло и умерло все, что дал университет, здесь он оставил по кусочкам жизнь, здесь каждый кирпич, каждое заплесневелое пятно было пропитано его жизнью, его кровью, здоровьем, надеждами, навсегда минувшей молодостью. Как же, как же он уйдет отсюда? Как он уйдет отсюда именно в тот момент, когда он увидел, точно пелена упала с глаз, что это-то и была и есть настоящая, реальная, невыдуманная жизнь, которую неизбежно нужно было прожить. Все время он обманывал себя и теперь вдруг увидел правду... Нет, нет, нет!..

Глаза Никиты Иваныча остановились на Карпе Спиридоныче, и страшная мысль, как брошенная в темноте искра, мелькнула в голове: *«Да ведь это он!..»*

И Никита Иваныч, страхась своей догадки и вместе опасаясь своего малодушия, кошачьей походкой подошел к Карпу Спиридонычу и уставился на него немигающими глазами.

Карп Спиридоныч спокойно, согнувшись длинным телом, писал. Он один из всего отделения не волновался, не ругался, не горячился, не подозревал, не разыскивал виновного, покорно и безответно ожидая общей участи, стараясь только отгонять от себя мысль: чем же он будет кормить своих семерых ребятишек. И его никто не трогал: в голову никому не приходило, чтобы этот забитый, всех

боящийся, не умеющий говорить человек мог иметь какие-либо сношения с сотрудниками газеты. Но именно потому, что это была невероятная мысль, она и поразила Никиту Иваныча.

«Да ведь это он!..»

Никита Иваныч совсем перегнулся через стол, не спуская глаз с длинного костлявого лица Карпа Спиридоныча; а тот поднял на него свои добрые глаза и улыбнулся ему грустной улыбкой, чуть-чуть тронувшей как будто нарочно сложенную по лицу складками и морщинами кожу. Никита Иваныч, чувствуя, как ему перехватывает горло, проговорил хриплым шепотом:

— Сознайтесь... признайтесь товарищам!.. Нельзя губить людей... нельзя через одного пропадать всем.

Карп Спиридоныч округлил голубые, все такие же добрые глаза, не понимая всей громадности обвинения. Он было пустил в ход с печатью усилия и напряжения на лице замотавшиеся губы и язык; но они помотались, помотались и ничего не сказали, и он улыбнулся. Эта беспомощность, эта добрая улыбка, эта неспособность защитить себя, сказать в свою пользу — взорвали Никиту Иваныча.

— Па-адлец!..

И вместе с этим, поражая слух, неожиданно раздался сухой удар костлявой руки о костлявое лицо. И этот сухой короткий звук разнесся по всей густо накуренной комнате, проник к писцам, покрыл стрекотание ремингтонов, прозвучал назойливо, резко и отчетливо, точно нарочно, чтобы нельзя было стереть его в памяти и чтобы все слышали.

И все слышали.

Мгновенно смолкли ремингтоны, прервались беготня и шуршанье перьев. Ни звука, ни вздоха, ни шороха. Секунду все сидели неподвижно, с побледневшими лицами, потом разом поднялся смешанный, тревожный, испуганный говор и восклицания... Несколько человек бросились между Никитой Иванычем и Карпом Спиридонычем:

— Что вы... что вы?! Опомнитесь!.. Разве возможно... в присутствии?.. До начальника дойдет...

Карп Спиридоныч стоял немного нагнувшись, точно ждал второго удара. Губы дрожали, нижняя челюсть прыгала, из голубых глаз капали слезы. Это были слезы бессилия, слезы сознания, что он не может, не умеет защититься, закричать, ударить обидчика, что если бы и ударил, его на другой же день выгнали бы, что у него семеро

детей, что их надо кормить, что он не дослужил до пенсии, что у него, Карпа Спиридоныча, нескладная фигура, что над ним все смеются, что...

Судорожные всхлипывания душили его, и он судорожно дергавшимися, трепетавшими губами старался задержать их. Слезы пробирались по его нескладному лицу, забирались в складки кожи, в углы губ, капали на борт мундира, на стол, на бумаги.

Никита Иванович прошел к своему столу, сел и схватился обеими руками за голову.

Видно было, как вздрагивали его плечи и всего его дергало. Он закашлялся. Кашель, судорожный, хриплый, бил его, как вцепившийся зверь, и вместе с кашлем терзало сожаление, раскаяние, злоба и отчаяние. Долго среди напряженного ожидания раздавалось это надсаживающее буханье. Бледный, с округлившимися глазами, с проступившим на лбу мелкой росой холодным потом, держась обеими руками за стол, нагнувшись, кашлял он. Сквозь усы брызнула кровавая пена. Красные капельки усеяли бумаги, резко, угрожающе выделяясь среди белизны, как бы предрекая конец. Никита Иванович, страшно кашляя, свесил голову у края стола. Прибежал сторож и поставил на полу таз. Никите Ивановичу давали пить холодную воду, расстегнули ворот, мочили грудь. Когда кровотечение утихло, его увезли домой.

Чиновники, точно сговорившись, ни одним словом уже не упоминали, не заговаривали о мучившем всех вопросе. Молча, не проронив лишнего слова, в табачном дыму, в полумраке, в густой, тяжелой атмосфере под низко и угрюмо нависшим потолком писали все с озлоблением, с тайным страхом, с мутной надеждой, с отчаянием. Прошел четверг, прошла пятница, наступила роковая суббота.

VI

Обычно к девяти часам утра со всех концов города шли чиновники, завернувшись от тянувшего морозом восточного ветра воротниками, к огромному, с потрескавшейся штукатуркой казенному зданию, к которому они так же, как и сегодня, ходили десятки лет.

Зимнее серое небо, угрюмое и холодное, низко висело над молчаливыми домами, и казалось, на нем никогда не

сияло и не будет сиять солнце. Скучно, без конца тянулись пустые аллеи, и голые деревья протягивали обледенелые ветви, как будто уже не ждали, что оживут когда-нибудь и покроются шепчущей листвой. И хотя кругом было все то же, те же улицы, те же самые дома, деревья, аллеи, перекрестки, извозчики, но для семи человек, с тоской чувствовавших, как скрипит под ногами холодный снег, все носило отпечаток не то сожаления, не то холодного, сурового, враждебного безучастия, точно они только сегодня в первый раз все это увидели и поняли.

Визжа, отворялись и, оттягиваемые пружиной, затворялись огромные двери, впуская вместе с клубами холодного воздуха промерзших, с красными, припухшими от мороза носами, чиновников. В темной раздевальне расстегивали они скрюченными от мороза пальцами форменные потертые пальто, вешали на огромной, сплошь занятой платьем вешалке и расходились по разным отделениям огромного здания.

Пришел Мухов, пришел Карп Спиридоныч, Захар Степаныч, пришел Крысиков. Они входили, не подымая поникших голов, точно боясь, чтобы не задеть черного потолка, давившего всех своею каменной тяжестью. Сидели за столы молча, без обычного зеванья, потягивания, разговоров, брали бумаги, перья и делали вид, что работают, но на самом деле никто ничего не делал. Никиты Иваныча не было, и его стол чернел без бумаг, производя странное впечатление темной, зияющей пустоты.

К Захару Степановичу подошел Крысиков в новеньком мундире. Он остановился у стола, потянулся, сцепив над головой руки, и притворно зевнул. «Захар Степаныч, как же так?.. Что же это?.. с мундиром новым как же теперь? Ведь я же чин получил!..» просилось у него, но вместо этого, завернув полы мундира и подтянув штаны, он сказал:

— Папиросочка есть?

Захар Степаныч молча достал бумажку с сухим табаком, с удивлением чувствуя, что Дарвин и теория происхождения от обезьяны — все это вдруг потеряло весь свой смысл, всякую ценность, никакого отношения к теперешнему их положению не имеет, не может принести никакого облегчения, и подумал: «Эх, Захар Степаныч, Захар Степаныч, устарели мы с тобой!..» и, так же притворно зевнув, проговорил сквозь зевоту:

— Не спал сегодня...

— Клопы?

— Клопы.

— Ну, у меня проклятые клопы в квартире... кишат.

И они затягивались и пускали дым. Потом Крысиков пошел и сел на свое место, недоумевая, что же будет с его мундиром и с чином; а Захар Степаныч стал делать вид, что занимается, разом почувствовав, что его покинули силы, что все, на что он опирался прежде, выскользнуло из-под ног, и он сидит за своим столом — беспомощный, слабый и одинокий.

Карп Спиридоныч сидел, как и всегда, согнувшись над столом, писал и думал о том, что уже кончилось все, чем красилась его жизнь, что придут безрассветные сумерки, и ему было так больно, так жалко, что хотелось плакать, точно жизнь уходила. Но он не плакал, а, плотно поджав бескровные губы и ни на кого не глядя, писал и считал на счетах.

— Вашблгродие, вас женщина кличет,— проговорил Михалыч, подходя к Мухову.

Тот сердито нахмурился.

— Какая там женщина?

— Она здесь, в писарской.

Мухов поднялся и так же сердито прошел к писцам.

Какая-то женщина, до самых глаз закутанная старым платком, подала записку. Мухов прочитал и побледнел.

— Господа... братцы...— голос его прервался. — Никита... Никита Иваныч... помер...

Все бросились к нему.

— Что... что вы?.. когда?.. откуда?.. Не может быть!..

— Сегодня... в восемь часов скончался,— говорил Мухов, моргая глазами.

— Ах ты, боже мой!..

— Какая неожиданность!.. Царство небесное покойничку...

— И не болел человек...

— Что же, господа, надо кому-нибудь пойти.

— Начальнику бы... доложить...

— Господа, хоть сколько-нибудь пока надо собрать, а там обсудим дело... ведь семейство. У кого сколько есть...

Добыли пятнадцать рублей и снарядили одного из чиновников в квартиру покойного.

Весть о смерти Никиты Иваныча, с одной стороны, поразила своей неожиданностью, с другой — сообщила всем оживленное, почти радостное настроение. То, что давило и угнетало этих людей, свалилось, как тяжелый камень. Все говорили теперь громко, свободно, точно в комнате стало просторнее, светлее и легче дышать. Точно кончилось страшное напряжение ожидания. Все думали об одном и том же, но никто вслух не высказывал своей затаенной мысли.

Чиновник, ходивший на квартиру Никиты Иваныча, вернулся и рассказал, что Никита Иваныч лежит на столе уже омытый и одетый, что на глазах у него по пятаку, отвалившийся подбородок подвязан платком, жена убивается и кричит. И на минуту всеми овладело то состояние, которое испытали в гостинице, когда невольно и жутко вспомнили, что в прошлом году за этим же столом вместе со всеми встречал новый год Степан Семеныч, а в нынешнем его уже не было. При будущей встрече не будет Никиты Иваныча. Но это мимолетное настроение сейчас же снова заменилось ощущением облегчения. Все собрались у стола Мухова.

— Ну, что же, господа, будем докладывать? — проговорил Мухов, не подымая головы и не глядя ни на кого.

И хотя он не сказал, о чем докладывать, но все поняли, о чем он говорит, и молчали.

— А?

— Принимая во внимание, что умершие, будучи похоронены, с течением времени превращаются в почву, и таким образом для них уж все равно... — заговорил было Захар Степаныч, снова разом ощутивший силу и огромное значение в жизни дарвиновской теории, но ему не дали кончить:

— Пойдите вы к черту с своей философией!.. Вас спрашивают, согласны, чтобы докладывать, или не согласны?

Все глядели на него, и всем хотелось, чтобы он сказал: не согласны, — и все боялись этого.

— Да уж пишите, — подпишемся.

Мухов придвинул белый лист бумаги и взял ручку, потом опять отложил:

— Как он, покойник-то, там?.. И мертвому места нету... Что ж ему, как думаете?..

С минуту стояло тяжелое молчание.

— Что ж делать?.. Отслужим панихиду... помолимся... выпросим прощение у покойника... Ведь край приходит... живым людям пропадать приходится...

Мухов придвинул лист и стал писать:

«Имею честь доложить вашему превосходительству на словесное распоряжение вашего превосходительства от 2 января сего года, что по произведенному дознанию и расследованию сведения и указания о вверенной вашему превосходительству канцелярии, оказавшиеся превратными и содержавшие в себе явно неблагонамеренное измышление, доставлены в газету «Н-ский листок» умершим сего числа... Никитой Ивановым Семенниковым, каковые указания и сведения вышеозначенная газета в номере 31 декабря минувшего года печатала. Января 9-го дня такого-то года».

Все подходили, брали перо, макали чернила и с виноватыми лицами подписывались. Мухов просушил промакательной бумагой подписи, испытывая смешанное чувство облегчения и щемящей, сосущей тоски. Обдернув застегнутый на все пуговицы мундир, он прошел в коридор, подойдя к двери начальника, сделал почтительное и в то же время строгое лицо и взялся за дверную ручку. Но тут его опять охватило такое острое, щемящее чувство, что он опустил руку. «Эх, Никита Иванович, Никита Иванович! Мертвому покою нет... Теперь лежит там, а мы тут...» Мухов, не dokonчив своей мысли, разом дернул дверь.

Начальник сидел за столом и просматривал доклады. Мухов подошел к столу начальника, поклонился и с минуту стоял, ожидая, когда тот поднимет на него глаза. Но тот, не подымая головы и продолжая делать пометки, уронил:

— Что?

— Вы изволили сделать распоряжение...

— Почему после «сего» нет запятой?.. Чей это доклад?

Мухов немного помолчал, опасаясь нарушить течение мыслей начальника.

— Вы изволили сделать распоряжение о производстве дознания и разыскания виновника по поводу доставления из канцелярии сведений в газету...

— В какую газету?.. о чем вы?.. Опять: здесь не запятую, а точка с запятой... А тут совсем без знака... Ведь

сколько раз говорил, что прежде всего знаки препинания!.. От этого смысл зависит!

Молчание.

— Вы изволили сделать распоряжение второго сего января...— проговорил Мухов, точно глотая большим горлом большой, угловатый, никак не пролезавший туда кусок,— виновник найден...

Мухов проговорил это и стоял, как человек, только что совершивший преступление и понимающий, что сделанного уже не поправишь. Начальник посидел молча, раздумчиво поглаживая усы, и потом спросил:

— Журнал по очистке нечистот губернских зданий прошел?

— Нет, не прошел еще.

— Так поторопите,— год ведь начался. Пошлите Савельева.

Мухов вышел, прошел в канцелярию и сел на свое место, темный, как туча.

— Ну, что? Ну, что он? — жадно накинулись на него.

— Ничего...

И помолчав, добавил:

— Да и подлый мы народ!..

1902 г.

ЗАРЕВА

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытасченный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка, кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбацья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заворожено тихой, ласковой, неизвестной таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

* * *

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня,—просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбы объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

— Ну, завыли!

И двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

— Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доде-

лывает свое: спускает рыбу в плетенки или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

— Афиноге-е-ны-ы-ыч!.. По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные, игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеных берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачивается, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весело, мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра,— синяя река, синее небо,—и только в одном месте безумно ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов,— по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеных сердито подымает весло.

— Куды-ы?! За перевоз подавай... Не пушу... Куды лезете? Перевернете, идола березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

— Афиногеных, я те отдам после... Вот как перед господом отдам.

— Ну, после и перевезу.

— Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха-нищенка низко кланяется и причитает:

— Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!.. Только и подали на паперти три копейки... на целную на неделю.

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером, и сквалыгой, но добродушно, — и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, — при малейшем движении вода хлынет, и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбирают на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

— Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?.. — растерянно говорит старушонка.

— Сулка... Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, попрежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

— Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяйтесь — и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка, на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

— Привел господь, сподобился отстоять утрению и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

— Пели нонче уж хорошо.

— Чисто андельскими голосами.

— Энто, как сделает чернявенький: о-о-о... у-у.. а-о-о...

Мужик перекошил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

— Это ангелы так поют?.. А потом, вчера вечером, — хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, — пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, — лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... — И перебивая самого себя и усмехаясь: — Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча, как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить, — перепьются, ну, нам праздник: заберемся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства.

— Нехристь!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известно, ты — конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божии не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

— Верно, промыслял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промыслял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь ты мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали, — ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно — трах! — камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне, — стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, — стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, — больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

— Гореть тебе в печи огненной!

— Го-о-о!.. — Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешалась в душе неприязнь и раздражение с странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

Попрежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры — с немymi рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

— Афиногеныч,— говорили ему,— и живешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

А у него шевелились усы и брови.

— Будет того, что вы щенков плодите... перво-наперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатная половина подымется, будет вместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно белые чайки. Точно все отодвинулось кругом — и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится ко-

стер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначая цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

* * *

Раз пришел сюда кучками измученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернело ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

— Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

— А вы бы того... к Паисию... он уболаготворит: стало быть, любите ближнего и прочее.

— Край пришел! Все одно — ложись, помирай.

— У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

— Больше некуда. Край. Нету мочи!.. — заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

— Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея,— всю округу держал в кулаке,— вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели,— нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налил, лютый ходит, зверь-зверем. «А-а!.. Бейте, в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насунился народ, глядят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите,— конокрады, душегубы!.. Бейте, в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

— Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем,— говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

— Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

— По две дерут с каждого.

— Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли,— может, тогда хоть за ум возьметесь...

— Не лайся, не собака.

— ...Может, морду от земли подымете.

— Ты лучше перевези нас, Афиногеных.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

— По копейке с рыла.

— Побойся бога! Не евши целый день, падем не то где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

— Даром не повезу.

— Христа-ради!.. Сделай божещкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимает за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплес, крикливее.

— Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскалывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

— Тю... Обьелся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку:

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почерневшее тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

* * *

Реже и реже перевозил Афиногеных богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой

водки, лускали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

— Двоих наших лесники убили... порубщиков.

— Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

— Придет черед...

— Погреем руки...

— Все одно это — не жисть... Одинаково пропадать — тут или на каторге.

— Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои,— говорил старик,— чего ерепени-тесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

— Ты что же это, али басурман?

— А что?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

— Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть,— вишь, жиру-то у тебе от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

— Напрямик тебе скажу: все знаю.

— Тебе так и полагается — во святом месте живешь.

— Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пущай грехи замаливает, пущай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

— Мутного не замутишь.

— Ну, так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами,— сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забежали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

— Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

— А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

— Т-ты... старик!

Потом сдержался и холодно проговорил:

— Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

* * *

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было что-то молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и

слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колб-кола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, попрежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревели, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-проворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

— Ага, монастырские экономии полыхают... Дóбре, дóбре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» Дóбре, ребятки!..

* * *

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался, — никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва — и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

— Вези скорей!

— Откуда?

— Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каюк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется — это продолжается долго, бесконечно долго, и кажется — только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

— Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания разворачивающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, попрежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было — громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

— Да тут голову сломишь!

— Спускаться тут никак нельзя.

— В объезд.

— Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фырганье лошадей.

— Лошадей оставим наверху. Спускайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, — вся избушка затряслась.

— Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

— Ась?.. Кто там?

— А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

— Один, никого нет.

— Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

— Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

— Кого зараз перевозил?

— Никого.

— Бреешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

— Вишь, следы, прошли только.

— Что же ты бреешь, сучий сын?

— Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

— Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

— А лошади?

— С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет.

И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул:

— Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

— Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

— Далече не уйдут... тут деться некуда.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и доехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все поглядывал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

— Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

— Проснулся!!.

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река попрежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река,— небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

1907 г.

ДОЧЬ

I

Серый, как плывущая паутина, цепляется по крышам туман тающими клочьями, и вдруг на мгновение всё засверкает, заискрится неудержимо, радостно, мальчишески-задорно. Блеснет шаловливая улыбка по мокрым крышам, по фартукам экипажей, по стеклам этажей, и опять серенькая, неуловимо-хмурая серьезность плывет по лицам, по домам, а над ней снова рождается трепещущая, вот-вот готовая засверкать улыбка.

На одном только лице не мог потушить ее серый ползучий туман — на лице девушки. Идет она торопливо и вся светится неиссякаемой радостью жизни. Идет, и улица одной половиной неудержимо, ни на секунду не замедляя, катится ей навстречу, и так же неудержимо несется, обгоняя, другая половина.

Тысячи экипажей, тысячи лошадей, тысячи людей, домов, стен, ворот, окон. Тысячи шагов, тысячи ударов копыт, вздохов, шуршанья, непонятно тухнущих, всплывающих слов.

Навстречу — студент. Пуговицы, форменное пальто, поношенная фуражка, милое, молодое, еще мальчишеское лицо. И оба неудержимо улыбаются друг другу и, когда проходят, разом и неожиданно оборачиваются и опять улыбаются.

Офицер...

Нет, на этого не надо смотреть, он поймет иначе, сделает наглое лицо, и... Не удержалась, подняла сияющие глаза, и оба улыбнулись.

Все, кто проплывает в шумящей, мелькающей пестроте, все на секунду приветливо взглядывают на нее.

А тех, кто проходит с угрюмым, темным лицом, хмуро глядя в землю, она искренно жалеет: «Отчего он не взглянул?.. Если б только он знал!..»

Останавливается на углу, где, огибая, и люди, и лошади, и экипажи густеющим потоком растекаются на четыре стороны.

У витрины двигаются, колеблются котелки, перья и цветы дамских шляп. Подросток, с испитым вороватым лицом, осторожно тащит из кармана солидного господина платок, и оба внимательно рассматривают картину.

«Бедненький!.. Верно, не ел...»

Она хочет дать ему серебряный пятак, но боится испугать, да и он прячет платок за пазуху и начинает тащить у другого и так же внимательно глядит на картину.

«Надо сесть в конку... Ах, мамочка, мамочка, ты ничего не подзреваешь!..»

Лавируя между экипажами, ловко вскакивает в трамвай, и, гудя и роняя синие искры, он катится, и все бежит навстречу: окна, этажи, гул шагов, то яркий мак среди чернеющих шляп, то бледная роза на груди.

А ей все мало. И она торопит катящиеся колеса, считает улицы и заглядывает в переулки.

II

— Мамочка!.. Мамочка!.. Мамочка!..

Бурно все летит кругом: шляпа, стулья, кругленький столик. Треплет, тискает, носится по крохотной, чисто убранной с двумя кроватями комнатке с задыхающейся, изумленной, торопливо семенящей старыми ногами старушкой.

— Да что ты!.. Да бог с тобой, Марусечка! Да отпусти ты душу на покаяние!.. Уж не заболела ли, господи, спаси и помилуй!

— Мамочка, мамочка, да ты пойми... тра-та-та-та!..

И вдруг стала серьезной и наложила палец на губы:

— Мама, ты видишь перед собой человека, женщину, девушку, которая отныне будет зарабатывать самостоятельным трудом тридцать пять рублей пятьдесят копеек

в месяц! Тридцать пять ру-убле-ей пять-десят копеек!..— запела она, торжественно подняв руку.

Мать глядела во все глаза, боясь поверить.

— Марусечка, правда? Не мучай старуху!

— Мамочка, милая, правда, истинная правда...— и опять затормозила.

Та высвободилась.

— Нет, постой...

Опустилась на колени и, придерживаясь одной рукой за пол, другой широко крестилась.

— Слава тебе, господи, царю небесный... Благодарение тебе, мать божия, пречистая пресвятая дева...

Девушка присмирела. Когда увидела, как мать, нагнувшись, встала сначала на одно колено, потом на другое и как придерживалась за пол, что-то ударило ее, точно сдернуло пелену с глаз, и увидела, как та стара, слаба, ка-кая маленькая, тщедушная, измученная.

И, глотая слезы и обняв друг друга, они сидели и глядели друг друга по лицу.

III

Все кругом нее было как музыка огромного оркестра.

Это была музыка красок, тканей, изыска, драгоценностей, музыка вкуса и художественного чутья.

Никогда даже мысленно не называла этих разбросанных вокруг вещей оскорбительным словом — товар. Это были краски, это были звуки немой картины, это была огромная симфония цветных переливов, вспыхивающей радуги, тонких оттенков.

Перехваченные, ниспадают складками, играя поблеклыми цветами, шелковые материи, звуча при малейшем прикосновении. Кровавыми пятнами просятся из темного фона красные манто. Крикливо блистают поддельные бриллианты, и сосредоточенно и солидно облегают бархатистыми контурами меха. Даже лампы, посуда, статуэтки слагаются в сочетания, ласкающие глаз причудливой и неожиданной игрой.

Было оскорбительно, и она старалась поскорее забыть, когда ей говорили, что существуют специалисты, берущие с магазинов по двадцать пять, по сорок, по пятьдесят рублей от витрины, чтобы художественно разложить товар.

Она была вовсе не продавщицей, а таким же звучащим цветным мазком, бликом в этой картине, как и всё кругом. Об этом ей мимолетно, но настойчиво говорило нежное, с ямочками, с улыбающимися глазками лицо, тонко перехваченная талия, гибкая походка, каждый раз, как она взглядывала мимоходом в огромное трюмо, глубоко державшее, не упуская, все линии, оттенки, формы, все цвета.

И когда ей говорили: «Что стоит эта кружевная накидка, mademoiselle?»—даже это было преходяще, мимоходом, а главное, нестираемое было то, что посетительница так же была изящна и так же сливалась с окружающими красками вкусом платья, оригинальностью отделки огромной шляпы.

Холодная отчужденность небрежно прищуренных глаз не оскорбляла, ибо обе были только цветными звуками в огромной беззвучно-звучащей симфонии, обе были равноправны.

Столько было здесь разнообразия, изобретательности, что все с трудом умещалось в шести этажах колоссального здания, и подъемные машины, не уставая, работали с утра до ночи, давая неумирающую жизнь, движение, давая непотухающие краски.

Товарки и товарищи по работе входили звеньями в ту же гирлянду общей картины, полные достоинства, красивые, изящные, безукоризненно одетые, с безукоризненными манерами; их часто нельзя было отличить от тех, кто спрашивал о цене, просил показать ту или иную вещь.

— Ах, мамочка, если б ты знала, если б ты видела!.. Ты думаешь, я — приказчица? Ничуть. Ну, как тебе сказать... Ведь там у нас князья, княгини приезжают, у подъезда тысячные рысаки... Только с ними я, как со всяким... Знаешь, мне решительно все равно: возьмет — возьмет, а не возьмет — пожалуйста, как хотите... Если б ты хоть раз побывала... Боже мой, какое великолепие, какая красота! И потом — как легко! Говорили — очень трудно, а совсем делать нечего, так просто болтаешь себе целый день, даже совестно получать за это тридцать пять рублей... А ты знаешь, через год мне прибавка будет.

Крохотная комнатка становилась все уютнее. Девушка каждый день что-нибудь приносила: изящные этажерочки, полочки, небольшие картины, безделушки, новые занавески.

вески на окна, хотя в конце месяца и приходилось приносить домой жалование с большим вычетом.

— Марусечка, да будет тебе, не таскай ты больше,— ворчала старушка,— ведь не хватает.

Та закрывала ей рот поцелуем:

— Не буду, не буду, мамулька... В последний раз.

Но искушение было велико, так хотелось ласковости, уюта, изыска в своей крохотной комнате, и опять в конце месяца жалование с вычетом, и опять, как и в прежние времена, нередко приходилось оставаться без горячего, с одной колбасой.

IV

И для нее пришло то, что приходит для каждой девушки.

Оно пришло, смутное, неясное, тревожное, непонятное, окрашивая мир радужными переливами. И просились слезы на глаза, и вырастали крылья. Куда бы лететь?

Дни уходили ни скоро, ни тихо, да и некогда об этом думать. В тускло пробивающееся зимнее утро торопливо нужно одеваться, торопливо пить чай и, прихватив два-три бутерброда, торопливо спешить на службу,— управляющий не любил, когда опаздывали хотя на пять минут.

— Вы сегодня с опозданием,— говорил он, держа массивные золотые часы, с той почтительной вежливостью, которая была хуже выговора.

А вечером торопливо спешила домой, и мать ждала ее с кипящим самоваром на белоснежной скатерти, с кусочками торта и крохотной баночкой малинового варенья, до которых она была большая охотница. Уютом, лаской, тихой лаской и любовью веяло от крохотной комнатки, от этой старушки, которая вся светилась радостью, глядя на свою любимицу.

Так скользили тихие, ясные, милые дни, ровно, спокойно, без усилий, без запинки, но... если бы с запинкой!.. Ах, если бы!..

Она сама удивилась своей мысли и весело расхохоталась. Ну, например, лопнул бы потолок и прямо в чай упал бы большой кусок штукатурки. То-то было бы веселого переполоху!

И незаметно, как невидимо-тонкая заноза, проникало неуловимо-раздражающее ощущение ожидания.

Выходя из дому, она торопливо шла с напряженным лицом, точно по важному, особенному, ее ожидающему делу. Или вдруг останавливалась, схватываясь и припоминая:

«Ридикуль? Взяла. Платок? Часы? Ах, да, взяла, взяла...» — и торопливо шла по знакомым улицам, мимо знакомых магазинов, архитектурных украшений, витрин.

Все было знакомо, и мучительно хотелось закрыть глаза и уйти, уйти далеко, в незнакомую часть города, где другие улицы, дома, люди, сады. Город молчаливо свернулся в несколько улиц, переулков, по которым она изо дня в день, из месяца в месяц ходит утром и вечером, сосредоточился в этом шуме, толкотне, мчащихся экипажах, а кругом, за чертой движения пестрой жизни, — пусто, темно, молчаливо.

V

Иван Иванович Постотелов? Да, он хороший человек, он очень милый, очень, очень, но...

У него пальцы похожи на длинные коленчатые, изумительно подвижные ножки невиданного насекомого. Они живут своей собственной жизнью, эти удивительные пальцы. На лице улыбка или морщины усталости, или внимание слушающего человека, или скука, а пальцы торопливо пробегают молниеносным движением, точные, внимательные, сосредоточенные. Целые годы они перебирают за банковской решеткой миллионы шелковых кредиток и тяжелых золотых монет исчезающими в быстроте из глаз движениями.

И каждый раз, когда он приходит, садится, говорит, рассказывает о театре, о службе, о знакомых, она смотрит не на глаза, не на лицо, а на руки, на пальцы. Даже когда они, не шевелясь, спокойно лежат на столе, в их сухих, тонких очертаниях таится ловкость и быстрота.

От этих пальцев на всю фигуру, на движения ложится отпечаток точности, сухой деловитости. Он аккуратно заходит два раза в месяц и так же аккуратно приносит цветы, конфеты, а иногда привозит билет, и они едут в театр.

Всё это хорошо,—только... Ах, если б обвалилась штукатурка!

Раз ей показалось, что из-под темных бровей мягко глянули глаза, как в неясных, смутных девичьих ожиданиях.

Произошло это просто и скверно.

Она возвращалась после затянувшейся проверки в магазине.

Тысячи вечерних огней. Сияющая ими, упруго подымается дымчатая мгла. Все ярко в потоках холодного света. Резко тянутся иссиня-черные тени, и все сбивчиво, смутно, обманчиво. Неожиданно, разом выступают из голубоватого сияния пепельные лица со зловещими пятнами черных теней, как у мертвецов.

Краски мутны, расплывчаты, неузнаваемы — все озарено.

Девушка переходит наискось, мимо проносящихся, фыркающих над ухом лошадиных морд, мимо быстро пробегающих светящихся экипажных фонарей в неумолкаемом, смутно озаренном шуме и гомоне.

— Эй, поберегись!..

— Право!.. Право держи!..

Та же, что днем, толпа, экипажи, лошади, но странные, чуждые, и улица, изгибаясь, шевелится бесконечно живым телом. И голубоватый сумрак площадей глотает их.

— Прелестница, куда вы стремитесь с опасностью жизни?

Она осторожно выбирается из толчеи экипажей, торопливо, не оборачиваясь, идет по панели, но они не отстают, подхватывают с двух сторон под руки и идут, заглядывая из-под цилиндров в лицо. Навстречу огромные шляпы с кроваво-колеблющимися цветами; как черные провалы, подведенные глаза, яркие карминовые губы.

— Пустите, пустите!.. Нахалы, негодяи!.. Пустите!.. Городовой!

— Не бейтесь так, птичка, вам будет очень худо.

Как ни в чем не бывало, крепко держа под руки, они ведут, заглядывая в глаза, как два кавалера с ночной бабочкой. А навстречу все те же громадные шляпы, кровавые цветы, огонек папиросы в лице с мертвенными черными тенями, хриплый смех, брань, циничные, подлые слова.

Истерически перехватываемый спазмами крик глотает шорох и шелест угрюмо идущей толпы.

Кое-кто останавливается. Короткая, резкая тень на секунду лежит у глаз, потом торопливо тонет в голубоватом смутном сиянии,— у каждого свое.

Шорох, и шелест, и смех, и оторванные всплески, и восклицания.

— Не вырывайтесь! Лучше едемте к нам... Лихач!

Они уже подсаживают, как в тисках, в пролетку. Пронзительный, звериный визг пронизывает ночные спутанные уличные звуки, непрерывный шорох идущей толпы, бегущий стук копыт.

— Помогите!.. Помогите!.. Помогите!..

— А-а, вот что!.. Городовой!..

Задерживаясь, заворачивается толпа, как вода кругами около брошенного камня.

— А?.. Что такое?

— Где?

— Да вот пристала... Городовой!

Городовой идет с перекрестка, важно темнея плотной фигурой с поднятой головой.

— Что такое?

— Да вот... что вы смотрите?.. Пристает... нагло, назойливо... В конце концов по улице пройти нельзя!

У одного сердито поблескивает в глазу монокль, у другого — золотое пенсне. В цилиндрах, в высоких, резко белеющих воротниках, они на голову выше других.

Городовой с достоинством делает под-kozyрек.

— Ведь не усмотришь... Разрешено гулять, а они скандалят.

— Пустите же меня, пустите!.. Городовой, что же вы смотрите? Среди толпы на улице нападают!..

Голос рвется рыданиями.

Городовой подносит руку к губам, коротко свистит. Подбегает дворник.

— В участок!

Цилиндры садятся на лихача. С места четко чеканят кованые копыта, пропадают среди катящихся экипажей в голубоватом сияющем сумраке.

Попрежнему мимо шорох, шелест, шуршанье бесчисленных шагов. Краснеют колеблющиеся пятна мака, вспыхивают во рту огоньки, всплывают, тухнут разрозненные слова.

— Куда вы меня ведете? Я не хочу! Я не хочу!.. Оставьте меня! Не смейте трогать!.. Почему не задержали тех негодяев?

— Ступай, ступай!

У дворника сердитое, сонное лицо: ему надоело возиться с такими каждую ночь. Он толкает, не давая остановиться, опомниться.

— Ступай, тебе говорят! Или по затылку захотела?.. Слазь с панели, мешаешь проходящим!

Он сталкивает, и они идут по мостовой.

Она не сопротивляется, задыхаясь от рыданий; судорожно сжимая взмокший платок, идет торопливо, тяжело, подталкиваемая в спину, в плечи.

— Боже мой, что же это?.. За что, за что?!

Сворачивают в одну улицу, в другую, в переулок. Тяжелый, мглистый ночной свод низко нависает, и керосиновые фонари с трудом оттеняют до верхних этажей. И как бы в связи с этим одиноко чернеют фигуры редких прохожих. Смолк шорох и шелест. Они идут, как по коридору, меж высоких, теряющихся головами в темноте домов, и слепо, и равнодушно, и холодно смотрят окна...

— Боже мой, да что же это?!

Истерический хохот мечется по пустой улице, и судорожно плещутся в молчаливые стены надрывающиеся рыдания.

— Ступа-ай!.. Дай час, навоеешься.

— Что такое?

Останавливается темная фигура.

— А тебе что за дело? Иди, куда идешь.

— Куда ты ее ведешь?

— В участок, вот куда... А то и тебя прихвачу.

— За что ты ее толкаешь? Бить не имеешь права.

— По желтому билету,— говорит раздраженный дворник и, остановившись, бросает злобно-торжествующе: — Проститутка, вот кто!

— Ну, так что же, драться все-таки не имеешь права.

Но она идет, как сомнамбула, даже не слыша, что о ней препираются.

В коридоре охватывает затхлый запах кислой капусты, потных сапогов, махорки, горелого сургуча. Сонные лица городских. Коптящая лампочка повсюду кладет смутные, уродливо перегнувшиеся тени.

— Куда?.. Направо.

Она сворачивает направо. Сзади чьи-то догоняющие шаги.

За столом, заваленным бумагами, низко освещенным из-под широкого крашеного жестяного абажура висячей на проволоке лампой, скрипит человек в мундире. Нижняя часть нездорового, утомленного лица, с рыжеватыми усами, скучно освещена, верхняя в тени. Он пишет, не подымая глаз.

Дворник и всхлипывающая девушка стоят, — ей все равно. Заботливо тикают стенные часы. Кто-то сладко зевает, и по коридору проносится тупо и без отзвука.

Перо продолжает бегать, а глаза на минуту поднимаются на дворника.

— Номер двести сорок шестой прислал... К господам приставала...

Снова усталое лицо двоится, странно перерезанное тенью, и глаза следят за бегающим пером. Тикают торопющиеся часы.

— Этот дворник все время бил и толкал девушку, — звучит чужой здесь и ненужный голос, — да и по всем видимостям — она не принадлежит к...

Перо ложится на чернильницу, на стол ставятся локти, подбородок опирается на сложенные пальцы, и смотрят усталые, хронически недосыпающие глаза.

— Вы кто такая?

Девушка выкрикивает высоким, срывающимся голосом, не справляясь с трепещущими, неслушающимися губами:

— Что ж это?.. Ведь это же невозможно!.. Сегодня проверка в магазине... долго задержали... Иду... меня подхватили... ко мне пристают... я... тащат на лихача... Никто, никто... ниоткуда помощи... Городовой... я кричала... хоть бы один человек... они... я...

Рыдания безумно мечутся по комнате, не слышно тиканья часов. Дворник безучастно глядит в пол.

Человек в мундире подымается, слегка опираясь о стол, и все лицо его в тени.

— Вы кто такая?

— Я... Обручева... служу в магазине Моор и К-о.

— Да... Ошибки всегда возможны. В нашем деле, сами знаете, каждые пять минут приводят... Пьяные скандалят, лезут драться...

Но она не слушает, летит по коридору, запятнанному тенями. За ней опять догоняющие шаги.

— Налево, налево!..

Она сворачивает налево, выскакивает на улицу.

— Послушайте, возьмите извозчика или позвольте вас проводить.

Она давит грудь, сдерживая рвущиеся рыдания.

— Никого, ни один человек... как в лесу... Можно убить, задушить, сделать все... никому никакого дела... Ах, опять!

Снова сворачивает за угол мимо домов, мимо прохожих, а сзади неотстающие шаги.

Ей кажется, что уже все пропало, она провалилась в темную, сырую яму, барахтается... Уже не будет радости, спокойствия, уверенности, не будет солнечного дня.

Вскакивает в ворота и тут только спохватывается:

— Ах, да! Что же это я?

Вскакивает на улицу. Темная фигура одиноко удаляется.

— Пойдите, я должна поблагодарить.

Тут только видит — поблескивают на фонаре пуговицы его студенческого пальто. Милое безбородое лицо, как и тогда, в первый раз... Может быть, он?

Юноша чувствует, как его большую руку жмут маленькие нежные ручки.

— Благодарю вас, благодарю вас. Зайдемте к нам. Мама вас... я не знаю, как будет благодарна...

— Нет, спасибо. Но я...

Ее глазки сияют от непросохших слез, и сердце юноши бьется торопливее.

— Так заходите к нам, я по воскресеньям свободна... Квартира тридцать четыре, пятый этаж. Обручевы. Пожалуйста, очень будем рады, я и мама...

— Непременно... Николаев.

Он приподнимает фуражку.

VI

Давно первое впечатление пропало. Точно расстроился оркестр, и каждый, согнувшись, со скучным напряжением пикировал, не слушая и не заботясь о других. Стояла разноголосица — надоедливая, мертвая, однообразная. Так каждый день с утра до вечера.

И эта работа была вовсе не легка: до квартиры Маша добиралась измученная и усталая. Да, она была

приказчица, настоящая приказчица, которая должна уметь показать лицом товар, иначе ее не станут держать.

Только когда приходил Николаев, комнатка точно светлее становилась. Он с собою приносил другой воздух, другую жизнь, другие впечатления, стирая обыденность.

Он не говорил ей: «Я люблю вас», а говорил, наклоняясь, и глаза у него горели:

— Вы не знаете, там зарождается новая заря, ваше, мое, всех нас счастье, там, в этих смрадных казармах, в фабричных корпусах, в мозгу угрюмых, черных, подчас грязных, пьяных, невежественных людей... Там перестроится вся наша жизнь до основания, любовь, семья...

Она слушала, видела совсем возле милые, славные, сияющие глаза.

— Без тех, без них, этих угрюмых и черных людей, у нас нет и не может быть счастья! Мы притворяемся иногда счастливыми или просто довольными...

— Да, правда, страшно жить! — говорила она, морщинкой между бровей прогоняя свое непокорное легкомыслие, непокорно просившийся, дрожавший во славу солнца, утра, движения, молодости смех. — Но... но надо туда идти и потом... и потом садиться в тюрьму, — наивной жалобой, подняв брови, жаловалась она, — а мне так хочется хотя чуть-чуть пожить...

Это так неожиданно, просительно и виновато, что с него разом спадает серьезность, и в комнате не умолкая дрожит смех, полный беспричинной радости и молодой жизни, и они говорят, говорят...

Задумчиво горит лампа. Старушка в больших круглых очках довязывает чулок с таким же усталым вниманием, с каким доживает свою усталую, просящуюся на покой жизнь, а в черные окна мутно рвется гул и гомон большого города.

В такие ночи поздно засыпает девушка, и сквозь мягкую, склоняющуюся над ней сонную улыбку ей чудится: «Нет, это — не настоящее. Он — ребенок. Это — не настоящее. Настоящее — какое-то другое... и бухгалтер — не настоящее...»

А сон веет с тою же дурманящею улыбкою, и, затканые легкой паутиной, смежаются усталые, отяжелевшие веки.

Тысячи людей, тысячи чужих людей проходят ежедневно перед ней. Точно стоит она на распутии, и идут, идут мимо, и нет им конца и краю, и нет им дела до ее радостей, горя, неудач и счастливых дней. Где-то у них семьи, близкие, враги, привычный труд, а ей все равно, и стоит одиноко на распутии.

А губы говорят:

— Это французская модель. Настоящие валансьенские кружева. Что-с?.. Девяносто два рубля... Да-с...

Каждый день с утра до вечера.

Среди шумящего неустанный потока мелькает странно запечатлевающееся в памяти лицо.

— Вам лучше всего будет идти цвет бордо.

«Но где же, где я видела этот вздернутый носик, эти светлые волнистые волосы?..»

— Вот позвольте, мадам, примерить это.

«... эти чуть выдавшиеся скулы?.. Ах, боже мой!..»

Великолепное платье, в ушах и на оголенной шее — бриллианты, и возле стоит инженер с красиво подстриженной бородкой, держа в руке манто.

Покупательница и продавщица на секунду останавливаются, смотрят и вдруг бросаются друг к другу.

— Маруся!

— Лена!

— Вот не ожидала!

— Как ты изменилась. Ни за что бы не узнала.

— Это... это — инженер Пролов.

Инженер раскланивается, и огонек сдержанного любопытства пробегает в глазах.

— Когда бываешь дома? Непременно, непременно к тебе приду.

— После восьми. Магазин запирается в восемь. Мама будет страшно рада. Вот неожиданность!

Вечером в крохотной комнатке курлыкал самовар, сутилась старушка, добродушно сдвинув на лоб очки, и подруги, оживленно и радостно перебивая друг друга, без умолку говорят.

Хорошо сложенную, крепкую фигуру Лены стройно охватывает просто, скромно, прекрасно сшитое синее платье, в ушах синют маленькие бирюзовые сережки, и пряди золотистых волос лежат гладко.

«Она некрасива,— думает Маруся,— но что в ней так привлекательно?».

— А помнишь, Маруся, как мы с тобой в музыкалке?

— Боже мой, еще бы! А как будто сто лет прошло.

— А как ты профессору язык показала?

— А ты вцепилась в лихача?.. Ах, мамочка, ты знаешь, раз выходим из музыкалки. Была зима, снег, солнце, весело, разговариваем, смеемся, — ты в это время в Нижний уезжала. Вдруг вылетает лихач. Крики, вопль: «Держи, держи!» Смотрим, лихач налетел на ребенка, смял, лежит маленький на снегу, а лихач хлещет, безумно несется, чтоб уйти. Лена как завизжит, как бросится навстречу, подпрыгнула и на всем скаку вцепилась лошади в удила. Лихач умчался. Мы ахнули. Смотрим, на снегу ее нет. Побежали гурьбой. За два квартала лихача схватили городовые, — Лена все время висела, вцепившись в уздечку. Не могли оторвать, так и закоченела, насилу разжали руки. Ну, мы окружили, тут же на улице прокричали ей «ура».

Старушка стояла перед Леной, подперев локоть рукой, и, любовно глядя, покачивала головой.

— Милая моя!

Девушки болтали, и минувшее, как живое, вспыхивая, пробегало, заполняя красками и движениями крохотную комнатку.

— Кто этот инженер, с которым ты была?

— Вот что, Марусечка: через воскресенье я за тобой заеду, поедem в театр — «Золотая Ножка».

— Только я... — замялась Маша. — Я — на галерку.

— Какая там галерка! — раздраженно бросила Лена. — У меня ложа.

— Кто еще будет?

— Целое общество.

— А кто это с тобой был в магазине, этот, с красивой бородкой?

— Ну, прощай, дорогая!.. Смотри же, в воскресенье в восемь чтоб дома была.

Подруги крепко поцеловались.

VIII

Когда в воскресенье приехала Лена в бриллиантах, с оголенной шеей, с острым, бегающим взглядом, они вдруг почувствовали себя чужими. И стараясь подавить

и замаскировать это ощущение, перебрасывались незначащими фразами, а в карете ехали молча.

Беззвучно прыгали колеса. Пробежали, мелькнув вечерними огнями, улицы.

Площадь потонула в розовой дымке. Криливо выделяясь яркостью, нагло горело багровое зарево огромных фонарей.

Все вокруг пунцово-красное: площади, мчащиеся экипажи, лошади, лица, бегущая мостовая, мрак наверху. Чудились румяна на поблеклом, наглom лице, яркие лохмотья на грязном теле.

Мальчишки, пунцово-грязные, оборванные, испытые, иные с пьяной, циничной бранью и нежными яркокрасными цветами, бежали рядом с каретой, крича хриплыми голосами:

— Ба-арыня, купите пукетик!.. Ба-арыня, купите пукетик!..

А из гладкой, слепой, без окон, без украшений стены искривленными линиями разверзалась пасть. Всегда разинутая, всегда залитая изнутри багрово-трепетным светом, алчно глядела на кишевший по площади муравейник.

И когда подруги подымались по широкой, беззвучной от огромных ковров лестнице, праздничная атмосфера охватила их; шелест шелка, блистание золота, драгоценностей и женских плеч и легкий, но не прерывающийся, не устающий говор и гул.

В ложе встретились с инженером с красивой бородкой и еще с несколькими мужчинами во фраках и с дамами, сиявшими драгоценностями и улыбкой, в платьях с низко вырезанными декольте.

Было что-то жуткое для Маши и подстерегающее в этой красавости, изяществе и изысканности, но все были так сдержанны, так внимательно-любезны друг с другом, что тайная, несознанная тревога улеглась и все радостно слилось в одно праздничное настроение.

— Так я ухажу,— негромко проговорила Лена, когда подняли занавес и пробежал, смолкая, последний говор и гул.

— Куда же? — и Маша полутревожно оглядела ее красивую, крепкую, стройную фигуру.

— На сцену... Я — во втором акте,— нехотя и небрежно бросила Лена.

— Ах, вот что!..

И все время среди стройно звучащих со сцены голосов, среди аплодисментов, говора и шума антрактов перед Машей навязчиво вставало: «Я — на сцену...» И представлялся Пролов с подстриженной бородкой, с красным манто на руке, как впервые увидела в магазине, с острым бегающим огоньком шупающих глаз.

Теперь он был совсем другой: сдержанный, почти суровый, но внимательный и любезный.

— Бояринов — прекрасный артист, но напрасно он берет такие роли, — говорит он, слегка наклоняясь, точно желая подчеркнуть свое особое отношение к ней, полное уважения, почтительности, готовности на услугу.

— Мне его голос нравится, — говорит Маша, конфузясь и радостно чувствуя обаяние молодости и нежную игру румянца на щеках.

«Но почему же она мне не сказала, что на сцене, и почему этот инженер?..»

Снова уходит вдаль зеленеющий обманчивый простор сцены с облаками, с поблескивающей речкой, с избами деревни. Девушки, в такт прихлопывая ладошами, ведут хоровод, поют, потом одна выступает и под оркестр плещет русскую. Гибкая, стройная, она вызывает гром рукоплесканий.

— Ах, да это Лена!

И Маша не отрывается блестящими глазами от гибко и гордо плывущей фигуры.

«Так вот что... Но почему же танцовщицей быть хуже, чем приказчицей в магазине?»

После спектакля поехали ужинать. Яркий свет, шампанское, смех, остроты. Магазин, серые дни, мать — все куда-то ушло, потонуло, было только незнакомо-празднично и весело. Лица разгорелись, глаза блистали, и установилась странная близость с этими, за несколько часов еще незнакомыми людьми.

Инженер наклонялся и, чокаясь, говорил:

— Ваше здоровье...

А глаза говорили о чем-то о многом, далеком и близком.

— Да здравствует искусство и его прелестная представительница — Елена Николаевна!

И среди говора и звона вдруг странный, резкий, чуждый звук. Елена откинулась на спинку стула с бледным лицом и горящими глазами впиалась в красивого, с

седеющей бородкой брюнета во фраке, своего соседа. А он ласково усмехался ей одними глазами.

Все стихли.

Маша ничего не понимала, глядя во все глаза, и в голове смутно звучало, все яснее обрисовываясь, пошлое, гадкое слово, в первый момент не сознанный, прорвавшееся сквозь говор и звон, которое шутливо бросил Лене ее сосед.

И прежде чем девушка успела дать себе отчет, Лена порывисто опрокинула стул и с размаху швырнула через стол бокал с шампанским в лицо инженеру.

— Подлец!

Все ахнули.

— За что?

— Ты — первый!

Инженер салфеткой вытирал лицо и платье. Лена бросилась в соседний кабинет, Маша — за ней.

— Все, все отняли... Танцую прекрасно... Тело отличное... — судорожно выдавливала Лена душившие ее слова.

Но через десять минут все было в порядке — смех, говор, остроты, здравицы, разгоревшиеся лица, блистающие глаза. О «нервах» уже никто не упоминал, и праздник продолжался.

Уже под утро инженер в карете провожал Машу домой.

Они сидели рядом, слегка касаясь друг друга, и инженер ласково, задушевно и чуть-чуть грустно говорил о своей жизни, о своих работах, удачах и неудачах, о своем одиночестве.

Он был корректен и безупречен. В напряженно-чуткой осторожности Маша боялась — вот-вот скажет какое-то простое и страшное слово, боялась и ждала.

Карета остановилась, но в окно Маша бегло заметила — по спавшей улице стояли не те дома, где она жила, а инженер, стоя у открытой дверцы, говорил:

— Зайдемте на минутку. Мне бы хотелось показать вам удивительные коллекции, вывезенные мною из Средней Азии.

— Поздно.

А перед глазами все быстро плыло кругом.

— На минутку.

И чувствуя, что все кончено, что нет возврата и не может быть, она вышла, жадно глотая ночной воздух, и

инженер предупредительно поддержал. Захлопнулась дверца, карета беззвучно отъехала, а швейцар распахнул двери подъезда, сквозь которые глянула усталая ковровая широкая лестница.

«Кончено!»

На секунду прервалось дыхание, и она закрыла глаза. Инженер посторонился, давая дорогу.

И вдруг все, что всосалось с молоком матери, все привычки, взгляды, покойный отец, мать, крохотная комнатка, что скажут о ней знакомые, родные — все встало между ней и этим красивым, молодым, таким почтительным человеком, дающим ей дорогу.

И, пятясь, выкатив глаза, в ужасе протянув руки, она торопливо шептала:

— Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

Но он крепко, как тисками, сжал руку выше локтя и жестко проговорил, холодно блеснув незнакомыми глазами:

— Пожалуйста.

А она отчаянным, нечеловеческим движением вырвала руку и бросилась бежать по панели, бормоча:

— Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

Сзади торопливые, догоняющие шаги.

— Да позвольте... Куда вы?.. Хорошо, я доведу вас в карете.

Она путалась в юбках, задыхалась от безумного бега и неслась мимо темных домов, спящих извозчиков, неподвижных городских...

— Нет, нет, нет!.. Нет, нет!..

IX

Попрежнему бегут дни, недели, месяцы, годы.

Бегут годы, и нет уже ямочек, нет нежной пушистой кожицы персика на щеках, нет беспричинной молодой радости, но все то же ожидание в усталом сердце.

Оно красиво, оно все еще очень красиво, это удлинившееся матово-бледное лицо с глубокими глазами.

Бегут годы, и, как берега широкой реки, убегает прошлое.

Вот уже далеким воспоминанием маячит Лена — где-то она теперь? — инженер с подстриженной бородкой,

бокал, швырнутый ему в лицо, в глубине широко отворенной двери устланная ковром, приглашающая к яркой, жгучей, страшной жизни лестница, — маячат, убегая и пропадая в дымке прошлого.

Незаметно, но все тихонько и неотвратно меняется. Те же дома, улицы, та же работа, но многое исчезло невозвратно.

Давно уже не видела Николаева. Выделяясь пятном, он тоже убегает далеким воспоминанием.

Заходил он, печальный и грустный, потом уехал навсегда, а она получила письмо. И в нем было: «Я люблю вас, и мы больше не увидимся...» И еще: «Золото в горах лежит тоненькими прожилками, а массивы лежат грудами, дают и дают формы...»

Ничего особенного, но каждый раз, как вспоминает, кольнет обидой.

И те же улицы, и те же дома, и тот же неустанный грохот и гул города. А жизнь убегает.

И надо бороться за нее зубами и когтями, ибо при малейшей оплошности даже ее, серую и скучную, отнимут.

Но ведь тысячи людей за этими стенами, окнами, тысячи людей на этих улицах, площадях имеют семью, живут человеческой жизнью.

Человек с длинными бегающими пальцами попрежнему приезжает, привозит цветы, конфеты и говорит:

— О такой жене, как вы, я и не мечтал, но... но я получаю только две с половиною тысячи, а этого довольно только на то, чтоб плодить только нищих...

«Будем плодить нищих!»

Иногда ей кажется — вот-вот ее отпустит кто-то, кто неумолимо охватил ее, сжав безжалостные когти, но крепко держит магазин, спокойно, бесстрастно шумит кругом огромный город.

Она прислушивается и вдруг слышит, слышит не экипажи, не колеса, не удары кованых копыт, не шаги людей, не говор и гомон, а ни на минуту не смолкающий, тяжело колеблющийся голос города:

— Га-а-а-а-а...

Мутно дрожа, стоит в окнах, в ушах, в груди:

— Га-а-а-а-а...

Торопясь на службу и глядя на уходящие под ногами плиты и чтоб слышать свои мысли, она думает вслух:

— ...Двадцать четвертое... пять дней... Как приду, возьму у Нади... большой и высокий, рыжая борода...

— Га-а-а-а...

Иногда ей попадаются люди, которые тоже идут то-ропливо, нагнув голову, и думают вслух.

Город всех покрывает одинаково, ровно, без пощады.

— Га-а-а-а...

А по ночам она мечется в припадках тоски и отчаяния.

Мать измученно стоит над ней:

— Марусечка, Марусечка, дочка моя!..

А та бьется в рыданиях:

— Пусти, пусти!.. Так всю жизнь... Вон я уж старая делаюсь, кому я нужна?.. Ты-то прожила себе... Пойду на улицу, все равно... О я, несчастная!..

— Марусечка, Марусечка!

— Ну, что «Марусечка»?.. Из твоей жалости шубы не сошьешь...

А утром, как бежать в магазин, она не может оторваться и целует, целует эти старые, так много поработавшие на своем веку руки.

— Мамуся, не сердись на меня... Мамуся, я — гадкая, я — злая... Мамуся моя родная!

По ночам мать встает и подолгу прислушивается к дыханию дочери.

Тихо озаряет лампадка, и на лице тени. А возле кровати, на коврик, башмачки с чуть покривившимися каблучками. И вид этих небрежно брошенных башмаков в тихом сумраке спящей комнаты почему-то особенно больно поражает старое изболевшееся сердце. Медленно и горько в морщинах ползут слезы. Становится на колени, тихо шепчет, глядя на колеблющиеся в углу по образу тени, и этот материнский шепот наполняет комнату, дом, город, наполняет весь мир.

— Господи, господи!.. Ты видишь, господи... Ты можешь, господи!..

Уже погаснут фонари, засереют окна, когда прорвется никогда не оканчивающийся, спрашивающий, ждущий ответа шепот матери, и, с трудом опираясь о пол рукой, подымается она, чтоб, когда пройдет суетливый, мешающий день, снова остаться одной в темном примолкшем мире и спрашивать того, кто никогда не дает ответа.

А в черных окнах глухо и подавленно, но все так же тяжело дрожа:

— Га-а-а-а-а...

Х

Когда это пришло, мать не знает, но оно навсегда осталось в маленькой комнате и стояло неопределенное, ждущее в углу, противоположном тому, где мерцала лампадка и шевелились тени.

В первый раз старушка с ужасом отогнала, испуганно крестясь дрожащей рукой, но страшная мысль, как привидение, стояла, наполняя комнату.

И что бы ни делала: готовила ли обед, ждала ли дочку, или шла по улице,— эта новая, страшная мысль жила с ней.

Она странно слилась с непотухающим ни днем, ни ночью, тяжело вибрирующим «га-а-а-а...» Слилась с громадой каменных домов, тысяч чужих, занятых своим людей.

И чем дальше, тем больше давил роковой, неизбежный и единственный выход.

Погасла лампадка, и стены маленькой комнатки, когда слышалось ровное дыхание спящей девушки, уже не видели стоящую на коленях измученную фигуру старушки.

В черном люстриновом платье, которое надевала раз в год, в маленькой, черной же шляпе, держащейся на макушке, с узелком в руках, старушка бесчисленно крестила свою любимицу, целовала и опять принималась крестить и благословлять, но глаза были сухи.

— Мамоchка, ты точно навсегда прощаешься.

— Господь тебя благослови и сохрани, пресвятая богородица...

— Ты скоро вернешься?

— На три дня, на три дня, моя ненаглядная! Ты же не горюй, помни одно — тебе нужно жить, у тебя жизнь впереди... Ну, да благословит и сохранит тебя господь.

И когда девушка легко и быстро стала спускаться — позвала и еще раз торопливо благословила и крепко обняла и не отрываясь глядела в глубокий пролет, пока та не потерялась на последнем повороте.

Долго стояла, ловя последние тающие следы звука шагов, потом тоже спустилась неслушающимися старческими ногами, и через полчаса качались вагонные стенки, в такт неся снизу говор и гул, и пролетали будки, столбы, деревья и далекие поля.

С узелком и сухими глазами стояла она на качающейся площадке. Уже пора.

Она была спокойна.

Все, что заполняло ее жизнь,—небо, земля, ад,—все было низвергнуто одной жестокой в своей правоте правдой — счастьем дочери.

Вот она уйдет отсюда и уже не смеет сделать привычного, ставшего органическим движением знамения креста. И когда предстанет перед горными местами, не скажет: «Господи, раба твоя недостойная!..» Не взглянет господь, а торопливо уготовят ей место смрадные, злобно хохочущие существа. И это — вечно.

Вся жизнь, полная муки, нужды, несчастья, беспросветная, только и озарялась неугасающим огнем ни перед чем не гнувшейся веры: здесь тяжело, а там господь скажет: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные!..» Теперь не скажет. Все, что неотделимо срослось с мозгом, с сердцем, со всеми думами, чувствами, все грозное своею бесконечностью, все—за земное счастье дочери.

Она сделала шаг и с секунду задержалась над толкающимися, из стороны в сторону ходившими буферами, и шпалы безумно неслись под ними назад.

Потом перестала держаться, падая в открытую грохочущую железную могилу, не увидела хохочущей, оскаленной, мерзкой бесовской рожи, как ждала, а только мелькнувшие железные скрепы трясущегося над рельсами вагона.

Толкались и ходили из стороны в сторону буфера, и неся неумолкающий грохот на пустой площадке.

В первую минуту по получении страшного известия девушка чуть было с ума не сошла, но время делало свое дело, как паук тклет свою паутину,—надо было работать, надо было отдыхать, надо было наполнять свои дни, надо было продолжать жить. И сердце, усталое и разбитое сердце, подымало снова свою голову, требовало снова своей доли.

В бумагах покойной нашли полис,— ее жизнь, к изумлению дочери, оказалась застрахованной, и девушка получила пятнадцать тысяч рублей.

Через год она была женой бухгалтера и была счастлива счастьем, купленным ей матерью. У нее были канделябры, люстры, бархатные скатерти, мягкая мебель, хорошенький будуар и платья дорогой мастеровой.

И когда просыпалась, первое время по привычке со страхом прислушивалась, в темные окна уже не просился страшный, мертвый, дрожащий голос «га-а-а-а...».

Просто несся звук экипажей и подков и шорох тысячи людей.

Муж ее обожал и баловал. Иногда, как и во всякой семье, случались размолвки, и бухгалтер, раздраженно бегая длинными подвижными пальцами, кричал:

— Ну да, какие-то несчастные пятнадцать тысяч!.. Уж раз она решилась на это, так могла же хоть двадцать поставить. Ведь ей же решительно все равно было — пятнадцать, двадцать или тридцать.

А молодая женщина, раздражаясь, говорила сквозь слезы:

— Конечно, конечно, ты только из-за денег меня взял... Тебе все равно, как бы я ни жила, лишь бы мучить...

— Ну, уж кто кого мучит. Хотел бы я посмотреть, как на моем месте другой...

— Нет... это на моем месте...

Но потом он просил у нее извинения, а она просила у него извинения, и они ласкали друг друга и были счастливы.

Она была счастлива.

1908 г.

СТАРУХА

Двор у о. Иоанникия — просторный, укатанный, с многочисленными хозяйственными постройками.

Среди приземисто белеющих, нахохлившихся соломенными крышами куреней, среди кудряво-зеленых верб и вишен, свисающих из-за наклонившихся плетней на улицу, матеро глядит двухэтажный деревянный поповский дом под железною зеленою крышею, с желтыми ставнями, с узкими балясами вокруг, по которым ходят, когда закрывают ставни в верхнем этаже.

И каждый вечер, когда растрепанная девка Малашка, курносая, с подоткнутым подолом и загорелыми ногами, нанятая на ярмарке, куда ее привели родители, на год за тридцать шесть рублей на хозяйской одежде, торопливо пробираясь по узким балясам, закрывает ставни, — по густо заросшей колючкой и репейником улице, в непроглядных облаках лениво виснувшей пыли возвращается хуторское стадо, и хозяйки настезь раскрывают скрипуче обвисшие жердевые ворота перед важными, задумчиво медлительными коровами.

Из окон дома видна похожая на огромный пустырь площадь, как спокойным зеркалом вся занятая никогда не просыхающей, точно озеро, громадной лужей, с узенькой, жмущейся к самым плетням дорогой. В жирно и густо зеленеющей по краям тине целыми днями, в истоме полужакрых глаза, неподвижно лежат свиньи, а в спокойной воде — дремотно синее небо, кудряво белеющие облака и опрокинутая темным профилем сухонькая старенькая церковка.

Утром и вечером с низенькой, тоже потемневшей от старости колокольни, шепелявя, гнусаво отзывается надтреснутый старческий колокол.

Служил о. Иоанникий по будням кратко, потому что народ весь на работе, а в церкви две-три старенькие старушки, — по воскресеньям же и праздничным дням служит лепо и пространно, и тогда яблоку упасть негде, и все выходят с мокрыми, потными лицами, расправляя затекшие от долгого стояния ноги, усталые и довольные.

Когда дома, где всегда стоит шум, гам, крики, беготня, потому что из восемнадцати рожденных матушкой детей четырнадцать в живых, — когда дома о. Иоанникий снимает рясу и остается в одном старом, уже разлезающемся по швам подряснике, из которого он как будто вырос, и видны рыжие голенища, — видно, какой это огромный, ширококостый, массивный мужчина. И в странном противоречии с этим на красной толстой шее — стыдливым хвостиком по-бабьи заплетенная косичка, а когда заговорит, голос у него тонкий, тоже бабий, или как у подростка.

Но характера он твердого, не податливого и хотя не любостяжатель, своего росинки не уступит. Его не столько любят, сколько уважают.

Весь день, за исключением утренней и вечерней службы, отдает он хозяйству, а оно у него обширное и ведется образцово и строго. Строг, пунктуален, бережлив он и в своей семье. Настроено заведено, чтоб все во-время садились за стол. Терпеть не может, когда на столе на тарелках остается недоеденное, и требует от матушки, чтоб готовили в обрез, чтоб не оставалось кусков. А чтоб детям хватало и они наедались, сам ест очень мало, и когда крестится после обеда на икону и читает вполуслух: «Благодарю тя, Христе боже наш, яко насытил мя еси...», чувствует себя впроголодь и испытывает соединенную с этим особенную легкость. Зато на свадьбах, молебствиях, похоронах, поминках ест много, долго, сосредоточенно и дома страдает от живота.

Вся его жизнь, помыслы и заботы разделяются между требованиями, хозяйством и детьми.

О детях из года в год одна забота: тех надо готовить, те поступают, те кончают, то в епархиальном, то в семинарии, то в духовном, и всюду неуклонно требуется одно — деньги.

Когда начинал эту жизнь, было батюшке двадцать четыре года, потом стало двадцать восемь, и тридцать, и тридцать пять, и уже сорок, и уже сорок восемь лет. Уже пошел седой волос в темной бороде, а порядок и дни все те же, все так же распределяется время, так же ежегодно рождаются ребята, и нарекает им имя, так же отражается и небо, и облака в озероподобной луже, и темненькая, сухонькая церковка, и колокольня, и надтреснутый, шамкающий голос разбитого колокола отзывается по хутору перед утреней и перед вечерней.

Стоит о. Иоанникий в подряснике на крылечке и смотрит из-под руки, как работник возится около старого, норовистого, но знающего свое дело гнедого, запрягая его в повозку везти хлеба и кислое молоко рабочим на покос.

— Чересседельник-то подыми — не пойдет он у тебя на гору, наплачешься.

Гнедой лениво стоит, пренебрежительно заложив оба уха назад, — там, мол, видно будет, пойду или не пойду.

Проводил батюшка работника, пошел на баз и в птичник, побранил работницу, что некоторые куры несутся под амбаром, а не в курятнике, сделал выговор матушке, несмотря на восемнадцать детей, неистощимой, немного расплывшейся хлопотунье, что мало выручается от сухарей, — он знал, что матушка часть их тайком продает, так как он ни копейки не давал на руки.

— Да как же, отец, — хлопотливо говорила матушка, деловито обирая налипшее тесто с белых, толстых, мягких рук, — сам знаешь, какое время. Пятачок-то фунт, и не подходи.

Она тоже знала, что батюшка осведомлен о ее проделке, но оба сохраняли декорум, приличествующий священническому сану.

Уже Малашка, шлепая босыми ногами по балясам, закрывала ставни, шло стадо, и улица вся потонула в медленно идущей пыли, прибежали, повизгивая, поросята, и догорали, потухая, дальние верхушки верб.

Батюшка снова сидел на крылечке, пил одиннадцатый стакан и, запустив руку под рубаху, огромной широкой ладонью растирал взмокшую грудь и подмышками и

следил, как меланхолически, не ускоряя и не замедляя шага, без конца шло по улице стадо,— хутор был огромный.

Из пыли, как в сухом тумане, смутно маяча, проступали две фигуры: одна побольше, другая поменьше, все ближе, то вырисовываясь, то мутнея в заплывающих медленных облаках. Можно различить — старуха, темная, сухая, идет тихо, прямо, никуда не поворачивая неподвижную голову, высокая, деревянно-прямая, и маленькая девочка, лет восьми-девяти, впереди ведет ее за посошок, мелко ступая босыми ножками, торопливо, как птица, поворачивая во все стороны головку.

Подошли к калитке, и девочка с трудом, становясь на цыпочки, стала возиться со щеколдой. Потом справилась, отворила и, робко поглядывая и замедляя шаги, подошла и стала у крылечка и подняла на батюшку серенькие, робкие, просящие глазки: «Не трогайте меня, я ведь вам ничего не сделала».

А за нею неподвижно, прямо и строго стояла темная фигура старухи, и глаза ее странно-неподвижно и безучастно глядели прямо перед собою — в перила крыльца, а не на батюшку.

О. Иоанний неодобрительно прихлебнул из стакана. Много всякого народу ходило к нему во двор — и нищие, и странние, и переселенцы забивались, и прохожие заходили испить водицы, и по волчьему паспорту заглядывали. И к каждому у батюшки было свое особое деловое отношение.

Нищих не любил, никогда не подавал, ибо тунеядцы, а тонким и строгим голосом рекомендовал взять топор или мотыгу и исполнять завет господень: «В поте лица твоего съешь хлеб твой».

Странникам и странницам недружелюбно напоминал, что вера и спасение не в ногах и не в хождениях, а в неустанном труде на себя, на людей и на господ; помолиться же с усердием и верою можно и в своем храме, и не оскудеет милость господня.

Переселенцам приказывал отсыпать сумочку сухарей, изнурены они были всегда, а у ребятишек, выглядывавших из лохмотьев, только кости да кожа. Прохожим же, хотя и позволял напиться ковшиком из бочки, но всегда наставительно замечал, что везде — колодцы, берут бабы воду, и нечего ходить по дворам.

Босяков же и по волчьему паспорту не подпускал ко двору и на выстрел — как-то ночью такие же сломали у него огромный замок на хлебном амбаре, но унести ничего не унесли — собаки у батюшки отличные.

Глянул опять на стоящих у крыльца, прихлебнул и никак не может отнести их к нужной категории и взять должный тон. И, крикнув и чувствуя, что от него ждут, сказал:

— Ну, что скажете?

Девочка, подняв глазенки, все так же не то испуганно, не то молитвенно, продолжала смотреть на священника, а старуха, такая же прямая, неподвижная, повернула темное, пергаментное, как на старых закопченных иконах, лицо на звук голоса и так же неподвижно строго, безучастно стала глядеть в этом направлении.

Батюшка подождал и опять проговорил:

— Что скажете?

Тогда она заговорила низким, старым, изжитым голосом, который, казалось, так же был темен, как те закоптелые иконы, заговорила так, как будто давно уже говорила, как будто рассказывала священнику сурово и просто всю свою долгую, изжитую и тоже такую же темную жизнь.

— Вот пришла я... девонька меня в избу ввела... перекрестилась... не вижу образов, не знаю, в какой я хате, в своей ли, нет ли, ничего мне не видать. Ну что, говорю, родные мои, будете меня кормить? А они в четыре голоса — две снохи да два сына: «Нет, не надо нам тебя, куда нам, хоть бы самим прокормиться...» Да, хорошо. Спрашиваю опять: «Возьмете ли?» Закричали: «Не надо!...» Я опять: «Будете меня, старую, кормить? помирать мне...» До трех разов спросила. Закричали они: «Нет, нет, и не надо, и нет, нет, нет... иди, куда знаешь!» Заголосила я тут не своим голосом, жалко мне их стало: бросили мать свою, старуху... иди, куда знаешь, иди, слепой человек... Жалко — в утробе ведь их выносила, рожала...

Старуха зашевелила пальцами, державшими костыль, судорожно подергались неподвижно-темные черты.

Она помолчала, и опять строго, спокойно глядят мимо людей незрячие глаза.

— Взяла меня девочка за руку, повела. Куды мне иттить? Господи, царица небесная, заступница, сохрани и помилуй. Слепой я человек, а слепой, что мертвый, кому

нужен? Вышли мы, идем полем, сиверко, стыть, одержонка-то плохонькая, стала у меня душа холодеть, руки заоченели, ноги не слушаются. Подумала я, погрешила богу: неужто без покаяния, без святого причастия придется помереть? Только ведь и радости у меня осталось покаяться господу во грехах, душу свою грешную приготовить к смерти по-христианскому... А кругом-то, видно, стало темнеть. «Баушка,— говорит девонька,— боюсь я...» Ухватила за юбку, держится. «Чего ты, болезная, чего испужалась?» — «Ой, баушка, боюсь... мимо леса идем, темно... ведь ты не видишь...» — «Ну-к что ж, больная моя, перекрестись, сотвори знамение, с нами крестная сила... кому мы сдались, кто нас обидит...» — «Надысь в этом лесу у Митрича Мазана волки корову зарезали...» Идем это мы, мне-то не страшно, да за девочку сердце болит, дрожит она, за меня ручонками держится, ноги у меня подкашиваются, творю молитву заступнице пречистой. Сжалился над нами господь, послал своего ангела святого, вывел он нас к хутору. Пришли мы к церкви, служба кончилась, народ разошелся. Слышу, кругом тихо стало; ночь, видно; полезла я в сумочку, поискала, дала девочке кренделек. Пошла она домой, осталась я одна.

Она замолчала, и было темно ее пергаментное лицо и неподвижна темная фигура. И батюшке казалось, что он действительно знает ее жизнь, знает ее жизнь от первого дня до последнего. И он спросил:

— А девочка чья?

Старуха молчала, точно думала свою темную думу. Ручонки девочки зашевелились, и послышался тоненький, как соломинка, голосок:

— Я — Кобелихи дочка... что за кузнями живет... маменька спсылает меня, когда проводить баушку, не видит... она нам чужая...

О. Иоанникий отодвинул стакан, чувствуя, как ночь медленно и темно заполняет пустотой и улицу, и двор, и крыльцо, и маячат только две фигуры — одна побольше, другая поменьше. Он хотел что-то сказать подходящее, но не нашел.

— Это у которой муж умер? Горшечник?

— Мой папенька умер четыре месяца назад, горшками занимался... теперь мы одни.

О. Иоанникий вспомнил про работника, благополучно ли довез до покоса, и обрадовался этой пришедшей обыч-

ной заботе. Но она сейчас же свернулась и потухла, а у крыльца попрежнему две темнеют — одна побольше, другая поменьше. Но ведь он тут помочь ничем не может, — не брать же к себе, а сынов не уговоришь, — оголтелый народ.

И он хотел это сказать, как послышался опять низкий старый голос, в котором в самом было какое-то темное содержание, помимо прямого значения слов:

— Ты меня куда привела-то, девонька?

— Я — священник, — нахмурясь, несколько с неудовольствием ответил о. Иоанникий.

Она заговорила:

— Боюсь я, батюшка... — и что-то дрогнуло в ее темном голосе, — боюсь... сказывает народ, за мать не простится. Господи, выгнали... Это что ж, что ни то... мне немного осталось, приберет господь... мне-то помирать, им жить-то... вот что страшно... как там на небеси силы господни глянут... А ну-ка, сын, скажут, за мать-то... за мать-то... строго у них там... Иисус Христос мать-то свою возвеличил... Что как... господи!..

Голос ее замолк, и о. Иоанникий не видел в темноте, но угадал, как задрожали пергаментные черты. Он потрогал бороду и огляделся; было темно, точно все насушилось, но разглядел, что калитка не была прикрыта, подумал: «ишь, не закрыли», — и мысленно защелкнул щеколду.

— Вот что, матушка, сделать-то я ничего не могу... Да ты откуда? Сыновья-то твои где проживают?

Старуха, смутно темнея, молчала. И голосок девочки:

— С Прилипок они, на Прилипках живут ее сыны.

— А-а, знаю... поговорю, поговорю. На будущей неделе крестить там буду у лавочника, так поговорю.

И опять низкий, почти мужской голос, полный спокойствием невыплаканного горя:

— Не об том, батюшка... а страшно мне... все одно уж не возьмут. А хочь бы и взяли, грех-то, грех он уж есть перед господом, перед святыми силами его, боюсь я за сыночков моих...

— Ну, вот что: завтра приходи к церкви-то, — станешь на паперти, там подадут, и я прихожанам скажу, кои и помогут во имя господне. А после обедни зайдешь сюда, матушка сухариков сумочку насыпет. Ну, господь с вами, идите, — и он в темноте невидимо благословил их.

Они пошли, смутно выделяясь, и уже у ворот потонули в темноте, и о. Иоанникий крикнул:

— Калитку, калитку-то прихлопните.

Долго слышно было, как возились с щеколдой. Должно быть, девочка все не могла достать.

О. Иоанникий встал, точно освобождаясь от чего-то, и мысленно окинул дом и двор, вспоминая, насчет чего бы надо еще распорядиться на ночь. На большом крыльце гомозились ребяташки, укладываясь вповалку.

У церкви сторож бил в колотушку. Лениво и спокойно где-то лаяла на сон грядущий собака. Шла ночь, молчаливая, тихая, деревенская.

О. Иоанникий вставал рано, чуть зорька глянет сквозь вербы и через соломенные крыши куреней. Еще до обедни успел распорядиться по хозяйству и осмотреть все и обедню служил долго и истово — был праздник, хотя и церковный.

Во время обедни, между возгласами или когда садился в алтаре к сторонке на стуле отдыхать, думал о том, о чем всегда приходилось думать: о хозяйстве, не упустил ли чего, все ли наказал работнику, так ли сделают, как приказывал, без своего глаза ведь и дом — сирота, и на поле работники шалыганят, а то чего доброго еще праздновать с обеда начнут, непременно надо после обедни съездить туда. Думал о том, что в прошлом месяце Саше в семинарию отослал пятнадцать рублей, а уже просит и в этом рублей десять прислать. Вот и в епархиальное за Ньюшину музыку надо посылать; не хотел о. Иоанникий учить музыке, зачем она серьезной девушке? Да и плата особенная, все зря... Еще о чем-то хотел подумать о. Иоанникий, о чем забыл, а что-то нужное... Певчие кончили, и надо было возглашать.

После обедни, когда народ разошелся, сняв ризу и облачившись в черную рясу, вышел вместе с дьяконом, — и на паперти...

Вот о чем он хотел подумать, да не вспомнил!..

На паперти неподвижно и темно стояла старуха с пергаментным, не шевелящимся лицом.

Батюшка было приостановился, точно застигнутый врасплох, и раскрыл рот, чтобы сказать, да вдруг вспомнил, что ведь она слепая, не видит, и торопливо, как будто

немного согнувшись, прошел мимо, ничего не сказав. Старуха была одна, и когда, обойдя озеро, издали о. Иоанникий оглянулся, она все темнела неподвижно и одиноко на паперти.

Целый день в заботах и трудах провел о. Иоанникий. Съездил и на поле и подогнал рабочих, которые действительно были стали праздновать после обеда, дома приказал работнику отвезти на мельницу пшеницы смолоть, а вечером матушка пришла с жалобой на Малашку — балуется с парнями.

Батюшка нахмурился и велел позвать девку. Та пришла, опустив лицо, не отрывая глаз от своих загорелых черных ног. Долго говорил ей батюшка. Говорил ей, что родители ее отдали на год, взяли задаток и написали условие, а если будет баловаться с парнями, недолго и матерью стать. Какая же она тогда работница? И как же она будет выполнять условие? А всякое неисполнение обязанностей — грех перед богом и перед людьми. Вот он сам священник, а работает с утра до вечера не покладая рук и все обязательства выполняет точно, как часы заведенные.

Батюшка говорил так убедительно, что Малашка рыдала навзрыд. Потом за нее принялась матушка, и Малашка только слышала: «Это гадко, это мерзко, это отвратительно...» — и еще много другого, что Малашка уже перезабыла и чего вместить не могла.

Так прошел день, в заботах и трудах, и опять пришла ночь, тихая, деревенская, звездная ночь.

Ни одного огонька в хуторе. Ни собачьего лая, ни скрипа. Беспокойная колотушка церковного сторожа, и та замолчала. Только звезды мигают.

Темен, спокоен и тих и поповский дом. Все на запоре. Спят цепные собаки. Ребятишки спят с Малашкой на одном крыльце, а батюшка с матушкой на другом, под легким пологом. Спит и матушка давно, намаялась за день, а о. Иоанникий не может сомкнуть глаз. Уж он и ворочается, и примащивается, и старается обмануть себя, закроет глаза, ни о чем не думает, нет, не идет сон. И опять думает думы.

Выглянул из-за полога, — во все небо играют звезды, и много поднялось над вербами таких, каких с вечера не было. Поют комары. Задернул и опять попытался уснуть и долго лежал неподвижно, — нет.

«Но разве я виноват?»

«Нет, не виноват», — ответил кто-то.

«Виноваты сыновья...»

«Да».

«И взять не могу... ведь тогда пришлось бы брать во двор каждого неимущего...»

Но ему ничего не ответили. Он подумал.

— Мать, а мать? — проговорил он неожиданно для себя, приподнявшись на локте.

Матушка, разморенная за день, сладко похрапывала.

— Слышишь, матушка?

Та испуганно завозилась.

— А?.. Что такое?.. Ты чего?..

То, что он хотел ей предложить, было просто и ясно, но было просто и ясно, пока он думал, а когда надо было сказать это словами вслух, показалось нелепым и диким, и он проговорил:

— Блохи... заели.

— Блох — сила.

Она зевнула, перекрестила рот, отвернулась и стала похрапывать и вдруг проговорила заспанным и сонным голосом:

— И чего не спишь?.. Завтра к утрене... Людям покою не дает... спи!..

И захрапела мирно и редко, смутно белея в темноте.

Батюшка подождал и стал опять думать.

Да, конечно, он было сказал сейчас большую глупость — четырнадцать человек детей и... брать во двор еще бездомную старуху. Конечно, нелепость, и хорошо, что не сказал, матушка бы рассердилась. Ему стало легче, и он подумал, что уснет.

Но какое-то беспокойство, не то какое-то смутное воспоминание, не то забытое впечатление подымалось откуда-то из темной, затерявшейся глубины прошлого. Может быть, ничего и не было, может быть, дело шло совсем о другом, но беспокоимый, как комариным пением, он перебирал разные, совершенно не относящиеся к сегодняшнему дню случаи своей жизни.

И вдруг неожиданно и без усилий выплыло, остановилось перед глазами, проступая все отчетливее и яснее из смутности воспоминаний, далекое детское прошлое.

Высоко и темно, готическими линиями, подымается к синему небу католический костел. Отец батюшки был полковым священником в Польше. Часто забегал ребенок в костел, слушал торжественные звуки органа, глядел на непривычную торжественную службу и, входя, всегда останавливался у ниши, сделанной снаружи костела, в которой стояла потемневшая от солнца, времени и ветра женская фигура, с изборозженным не то старостью, не то дождями морщинистым лицом. И столько скорби, столько невыплаканной муки было разлито в ее темной фигуре, в ее изможденном лице, что мальчик долго не мог оторваться, смотрел и все ждал, что из глаз ее закапают слезы.

И теперь то далекое изображение скорби и одиноко темнеющая фигура на паперти слились в один тревожный, темно звучащий, не дающий покою укор.

Только когда стал шевелить складки полога надремавший за ночь предрассветный ветерок, от которого побледнели звезды и чуть побелело небо, заснул о. Иоанникий.

С этих пор каждый день на паперти глаз о. Иоанникия прежде всего останавливался,— в тайной надежде не встретить ее,— на темной фигуре старухи. Она всегда была одна, не просила, не протягивала руки. И проходили мимо равнодушные, иные подавали и совали ей в сумочку бублик или копейку. Поп Иоанникий проходил, слегка нагнувшись, точно опасался, что она увидит его незрячими глазами, и быстро шел домой.

Непонятым, тайным укором стояла в его памяти эта темная, неподвижная, как изваянная, фигура скорби матери, предстоящей пред всевышним о детях своих, которым грозит кара.

Но потом она стала его раздражать, и он говорил сердито дьякону:

— Отец дьякон, ты бы, что ли, пристроил куда-нибудь эту старуху, что на паперти,— слепая-то, что сыновья выгнали.

— Куда же я ее пристрою? Сынам не надо, так кому же она нужна? Господь приберет, и так на ладан дышит.

Заботы, труды, хозяйство, налаженный порядок жизни взяли свое,— о. Иоанникий понемногу забыл старуху.

По целым неделям он не помнил, видел ее или нет, и иногда, думая о своем, важном и нужном, подымал глаза: «А-а, тут!..»— и сейчас же опять забывал.

И все было попрежнему, и все повторялось изо дня в день.

1909 г.

ТРИ ДРУГА

I

Утреннее, не жаркое еще солнце чуть поднялось над соседней хатой и сквозь вербы задробилось золотыми лучами, а семилетний Ванятка уже слез со скамейки под образами, где ему стлала всегда matka, и выбрался из душевной хаты.

Matka, худая и костлявая, с головой, повязанной уша-стым платком, кидала на дворе зерно и кричала:

— Кеть, кеть, кеть, кеть!..

К ней со всех ног бежали куры, индюшки, неуклюже раскачиваясь, спешили утки, гуси. Свины, приподняв уши и похрюкивая, тоже торопились, разгоняя птицу, а matka на них кричала:

— Та це!

Ванятка ухватил хворостину и, радостно визжа, стал гонять хрюкавших и повизгивавших свиней.

— Гони их на улицу!— закричала matka.

Ванятка, забегая то спереди, то сзади, стегал хворостинкой кидавшихся во все стороны свиней. Свины не выдержали и побежали в раскрытые скрипучие жердевые ворота. Только лишь старый кабан, с нависшими изо рта желтыми клыками, угрожающе остановился, повернувшись мордой к Ванятке, как будто говорил: «Ну, ну, подойди, подойди!..»

Ванятка знал, что он не одну собаку запорол клыками. А отец рассказывал, что в лугу распорол брюхо лошади, наступившей на поросенка. Лошадь, чтобы за нее

не отвечать, кинули в озеро, а когда она там расплылась,— ее растащили рыбы и раки.

Ванятка подбежал к кабану, который был выше его, и, чуя его горячее вонючее дыхание, вытянул между маленьких злых кабаньих глаз хворостиной. Кабан повернулся и грузно побежал на улицу, а мать закричала:

— Не трожь, пострел! Он тебе так выпустит кишки...— И дала подзатыльника.

А когда Ванятка заревел на весь двор, утерла ему нос и сказала:

— Не плачь, сынок, иди в конюшню, помогай отцу,— запрыгает на степь ехать.

Ванятка побежал к конюшне. Отец, подставив под телегу дугу, мазал дегтем и крутил ходко вертевшееся на приподнятой оси колесо.

Ванятка постоял, глядя хитрыми серыми глазами. Он был белобрыс, брови его выцвели от солнца и степного ветра, а нос облупился. Очень хотелось самому подмазывать телегу, макать черный помазок в ведро с дегтем, крутить ходко вертевшееся на поднятой оси колесо, но отец все равно не позволит, а даст подзатыльника.

Ванятке хотелось все делать, что делают взрослые, а силенки не хватало.

Вот и теперь — постоял-постоял, поглядел на скособочившуюся телегу, на широкую спину наклонившегося отца и юркнул в конюшню.

В конюшне под соломенной крышей летали ласточки, а в углу, свесив губу, стоял, покачиваясь от дремоты, Пегаш. Без уздечки, без шлеи и хомута он казался голым.

Хомут висел на деревянном гвозде, вбитом в стену. Ванятка поднялся на цыпочки, достал руками хомут, а снять не может — тяжел. Ухватился за шлею и стал изо всех сил тянуть в сторону,— хомут грузно упал на навоз. Ванятка, напрягаясь, подтащил его к коленям лошади и, весь красный от натуги, приподнял и стал надевать на морду Пегашу.

Пегаш, подрагивая добрыми, мягкими губами, нагнул голову, вытянул шею, помогая надевать на себя хомут, но Ванятка никак не мог справиться, запутавшись в шлее. Наконец кое-как насунил хомут на нос, но через глаза не мог продвинуть. Пегашу надоело, и он высоко вскинул голову. Хомут сам собою соснул на шею, а Ванятка отчаянно завизжал: его зацепило шлеей, и он повис под

лошадиной шеей. Пегашка смирно стоял, пожевывая губами.

Мужик вошел на визг, высвободил болтавшегося в воздухе Ванятку, — лицо у него было расцарапано, — поставил наземь и дал такого шлепка, что тот вылетел из конюшни и с ревом побежал к матери, да не добежал: из открытого база выскочили беломордые телята и, задрав хвосты, стали носиться по двору, подбрыкивая.

Ванятка схватил хворостину и погнал их на улицу, а с улицы, обогнув сад, — на гору.

На горе потянулась степь, сколько глаз хватает, и на самом краю стояли курганы, три кургана, как три брата. За курганами отец будет косить сено.

Телята спустились в балочку и, помахивая хвостиками, стали щипать траву, а Ванятка обернулся в другую сторону и, приложив руку козырьком, стал глядеть. Под горой, за хутором тянулся луг, по лугу извилисто блестела речка, темнели вербы, а дальше, теряясь обоими концами, как желтая ниточка, тянулась линия железной дороги. Телеграфные столбы стояли тоненькими палочками, и тихонько ползла длинная сороконожка — поезд; чуть белел передвигающийся дымок.

Потом Ванятка стал смотреть в ту сторону, где в сухом тумане пропадали рельсы, — там был город. Города не было видно, а тоненько-тоненько блестела звездочка, — говорили — собор.

Долго смотрел в смутный, сизый, сухой туман, одевавший край земли, — очень хотелось глянуть хоть одним глазком, какой-такой город, какие там хаты, плетни, куры, собаки, и так ли скрипят там неподмазанные телеги, как у них по улицам.

Да забыл про город, упал на четвереньки и стал разыскивать заячью капусту. Заячья капуста топорщилась в траве мясистыми листьями. Сорвал и долго со вкусом жевал, выплевывая жевки. Потом поискал и поел щавелью. Потом сунул в муравьиное гнездо палочку и облизал с нее муравьиный сок.

В небе плавал коршун.

Ванятка огляделся. Солнце поднялось. Становилось жарко, и от зноя степь стала трепетать тонким трепетанием.

Ванятка побежал с горы, мотая руками, как крыльями, — есть захотелось.

Над двором стоял зной; над навозом гулко, тучами зудели серые мухи, а ласточки с чиликаньем низко и мгновенно пронеслись.

У печурки, сложенной во дворе, возилась мать с хлебами,— к утру надо везти на покос,— и сказала:

— Кабы дождя не было, касаточки разыгрались.

Обедали в хате только Ванятка, двухлетняя сестренка да мать, а старшие брат и сестра и отец были на покосе.

— Мамка,— сказал Ванятка, отпуская пояс на раздувшемся животе,— я к батюне пойду на покос. Чего я тут не видал!..

— Я те пойду!.. Я те так пойду, своих не узнаешь...

— Чего я тут не видал... — плаксиво тянул Ванятка.

— Цыц! Бери Нюрку да ступай на двор... Да гляди мне за ней, а то надясь нос расквасила. Ступай.

Ванятка подхватил сестренку под животик и поволок из хаты.

Во дворе все то же: зной, зудящие мухи и белогрудые ласточки, мелькая, чиликают.

Мать, убравшись с посудой, пошла месить навоз, тяжело вытаскивая из него босые, сразу ставшие грязными ноги. Потом навоз станут резать кирпичами, потом их высушат и будут зимой топить печи.

Ванятка выбрался с Нюркой на улицу; сели с ней посредине в горячую мягкую пыль и стали играть. Пришла старая свинья, постояла около них, посмотрела и пошла кушать копеечки, которые густо росли вдоль дороги.

Ванятка вскочил, погнался было за свиньей, потом сказал, делая страшное лицо и выпучив глаза:

— Нюрка, беги скорее к матке, а то свинья съест.

Девочка жалобно заплакала, закрыв ладошкой глазки, и, ковыляя, направилась к воротам, а Ванятка что есть духу пустился по дороге, обжигая босые ноги о горячую пыль, обогнул сад и, задыхаясь, вбежал на гору.

Внизу за хатами открылся луг, блестящая в зное река, ниточка железной дороги, но Ванятка ничего этого не видел, а пустился бежать к трем курганам, которые стояли, как три брата.

Жесткая мелкая трава царапала босые ноги, солнце жгло. Иногда Ванятка с размаху садился на землю, хватал

обеими руками ногу, выворачивал подошву, подтаскивая ее к самому лицу, слюнями оттирал налипшую пыль и грязь и, схватив черными ногтями воткнувшуюся колючку, выдергивал и опять пускался бежать.

Добежит до покоса,— трава там не такая, как тут: высокая, густая — отец ездит на громко звенящей, грохочущей косилке, управляя ножами; брат Алешка гоняет потных лошадей, а сестра Варька на кизяках варит кашу. Подойдет Ванятка, скажет: «Пусти, Алешка!» И станет сам гонять лошадей, косилка пойдет еще лучше, и отец скажет: «Ай да Ванька, молодец!..»

И вдруг вспомнил плачущую Нюрку и что его бить будут, когда вернется. Заныло сердце, приостановился, посмотрел: луг уж скрылся за далеким краем обрыва, спряталась и речка, не видно железнодорожной линии, лишь сизоватый сухой туман лежит на краю, и в нем чуть приметно звездочка сияет. А впереди — степь, и три кургана, три брата на самом краю стоят.

Опять побежал. Спустился в балочку, стал подыматься, да остановился: впереди какая-то большая рыжая птица бросилась на землю, потом взмыла, опять упала, снова сильными взмахами поднялась и снова рыжим коном упала, и что-то на траве под ней трепыхалось, что-то желтое и живое.

Ванятка что есть духу побежал и увидал,— под коршуном отбивается и кричит, как ребенок, тоненько и жалобно зайчишка. Подыметса коршун, зайчишка прыгнет раза два-три, а тот упадет на него и начнет терзать когтями и клювом, зайчишка заверещит, опять прыгнет, и опять насядет коршун.

Ванятка пронзительно закричал и бросился к зайцу, испуганно махая руками. Коршун недовольно поднялся, раскинув большие крылья; виднелся кривой нос, который он поворачивал то в ту, то в другую сторону, да лапы желтоватые, мохнатые, которые он так и не подобрал. Коршун улетел.

Зайчишка весь съежился комочком и сидел неподвижно, покорно заложив уши на спину и глядя большим, выпуклым, круглым глазом, — другой был выклеван. Шерстка на нем мягкая, как пух,— зайчишка был совсем молоденький, молочный,— и голова в крови.

Ванятка взял его на руки. Он не сопротивлялся, а подвигал лапками и улегся комочком, как в гнезде.

Ванятка, осторожно держа, понес его домой:

— Ах ты, сердяга!.. Лапушка моя... бедненький... Ишь, проклятый, как он тебя!..

Долго шел, пока не открылся луг, речка заблестела; по линии полз поезд, белея дымком, и звездочка собора стала яснее блестеть.

— Мамунька!.. мамунька!.. — не своим голосом заорал Ванятка, вскакивая во двор, весь дрожа, с пылающим лицом, — гли, кого я поймал.

Он забыл, что его будут драть, а мать, перестав на минутку ногами месить навоз, закричала:

— Ты иде это шалаешься! Кому я велела Нюрку смотреть?.. Постой, я тебе побегаяю...

Но увидев окровавленного зайца на руках, сказала:

— Это еще чего такое?.. Вот кабы увидали тебя на улице собаки, разодрали бы совсем и с зайцем.

А Ванятка весь дрожит, прижимая зайца:

— Мамуня!.. мамуня!.. мамуня!.. я его под лавку, я его под лавку... — и понес в хату.

Мать закричала:

— Куды ты эту погань!.. Вот я тебя совсем с ним на улицу выгоню.

Тогда Ванятка побежал к амбару, чтоб там устроить своего больного, но когда подбежал к дверям, заяц вдруг развернулся, как пружина, толкнул в грудь, прыгнул на землю и, не успев моргнуть Ванятка, исчез под амбаром в узкую дыру, проделанную крысами.

Ванятка упал животом на землю и, прижимаясь лицом к мелкой сухой соломе и горячей пыли, долго глядел в дыру, но там было черно и пусто.

— Ванятка!.. — закричала мать, бросила месить и, слегка обтерев ногу об ногу навоз, подошла и оттаскала за вихры.

III

А ночью случилась проза, — недаром так припекало днем и низко летали касаточки. Ванятка спал под образами на лавке. Спал он всегда крепко и ничего никогда не слышал, а сегодня чудилось: бегают будто по степи, а за ним гоняется коршун, и будто нос у коршуна кривой, а глаз один вывернутый, красный. И вдруг сквозь веки

почуял: кто-то заглянул яркосиний, режущий. И опять заглянул, да так нестерпимо, что Ванятка открыл глаза.

Сквозь щели ставен лился ослепительно синеватый, почти белый свет, несколько секунд лился, дрожа, потом погас, и стало непроглядно черно, глухо. Ванятка зажмурился, а сквозь веки опять на секунду заглянул ослепительный свет и погас.

Ванятка вскочил, ничего не видя. Стало невыразимо страшно, не оттого, что вспыхивал этот ослепительный даже сквозь веки свет, а оттого, что вспыхивал он молча. Когда погас, в темноте стояло глухое молчание, и Ванятка закричал:

— Мамуня-а!..

Мать спала на кровати с маленькой сестренкой; Ванятка сполз на пол и, натываясь на стол, на скамейки, стал пробираться к кровати. Пошарил — пусто. Опять сквозь щели полился свет, и Ванятка увидал: матери нет, а Нюрка, прильнув к подушке, тихонько подсвистывала носом.

Снова все стало черно, глухо. Ванятка кинулся к выходу, нащупал дверь, и когда отворил, все увидал, яркое и отчетливое: пустой двор, корыто посредине, плетни и белый, как кипень, нетрепещущий тополь.

— Мамка-а!.. — закричал он в темноте и побежал к базам, — должно быть, мать пошла подпереть двери, чтоб скотина не разбежалась.

Но когда все кругом снова замерцало в ослепительном свете, он увидал, что возле не базы, а плетень в соседний сад. Сейчас же все потухло, и Ванятка, протянув руки, побежал к базам, а когда осветило, увидал, что лезет у конюшни.

Заворчал гром. Упали тяжелые капли. Плача, натыкаясь то на плетень, то на кучу соломы или навоза, метался Ванятка, зовя мать.

Густо посыпал дождь. Гром раскатывался, заполняя все небо. И хоть часто, почти без перерыва, светила молния, сквозь мелькающую мутно-белесую сетку дождя ничего не было видно.

Отдавшись отчаянию, весь мокрый, Ванятка, как стоял, сел на корточки, не зная, где он, и горько всхлипывал, глотая слезы вместе с сбегавшим по лицу дождем.

А гром то оглушал потрясающим треском, то ровно,

как множество колес, раскатывался во всех направлениях, то, глухо ворча, смолкал. Тогда, слышно было, шумел дождь, и с томительными промежутками вспыхивал синевато-беспредельный свет, трепетно отражаясь в бегущих всюду ручьях.

— Мамулька-а... мамка-а!.. ы-ы-ы...

И вдруг прислушался: возле, у самых ног, кто-то бесконечно жалобно и беспомощно вякал. Ванятка протянул руки и нащупал мокрого, грязного, слабо ворочавшегося щенка. Верно, кто-нибудь выбросил, и щенок прибился к воротам.

Сразу прошел страх, ощущение заброшенности, одиночества. Ванятка поднял щенка, прижал, чувствуя, как он теплеет, тыкается мордочкой в грудь, и пошел, сразу разбирая, что он сидел под плетнем у ворот.

Молния широко осветила растворенную дверь в хату.

В комнате, освещаемая побледневшей и поредевшей молнией, мать беспокойно шарила по лавке:

— Ты где делся?.. Ванятка!..

Ванятка осторожно пробирался к своей лавке, и вода бежала с него, оставляя лужи. Очень хотелось ему рассказать матери о своей находке, да побоялся и, прижав пригревшегося щенка, крепко и сладко заснул. Заснул, и приснилось ему, будто опять налетает коршун, клюет и больно бьет его крыльями.

Вскочил испуганно, а это мать больно шлепает его рукой, и уже день на дворе.

— Это что за моду взял!.. Не таскайся, не таскайся!.. Все запакостил... Вот тебе!.. Вот тебе!..

Потом схватила жалобно завизжавшего щенка и понесла во двор и за воротами выкинула в лопухи.

Ванятка бежал за ней плача. А когда ушла, подобрал щенка, принес к амбару и устроил ему из соломы гнездо в старой кошелке.

Так завелось у Ванятки свое хозяйство.

Заяц долго сидел под амбаром, да голод не тетка, и в конце концов высунулся из дыры, выставив мордочку, торопливо обнюхивая подвижными ноздрями воздух. Большой глаз заструпился, втянуло его, стал поджигать. Здоровый, большой, круглый и любопытный, глядел осторожно.

Ванятка клал около дыры под амбаром кусочки хлеба, молодые капустные листья, ставил молоко в кринке, при-

носил из степи заячьей капусты, и заяц все подбирал. Стал есть из рук и день ото дня ручнел.

Вот только собаки одолевали. Как только приедет под праздник отец с поля, собаки придут за телегой и, как звери, кидаются к амбару, а заяц юркнет в дыру и уже не показывается. Собаки визжат, роют лапами, да не достать.

Да и отец был недоволен и раза два больно оттрепал за волосы Ванятку, чтоб делом занимался, а не баловался с зайцем.

Дела же у Ванятки всегда было много, как и у всех во дворе. Когда лошади были дома, гонял лошадей и быков на водопой, выгонял телят на гору, возил отцу на ближний покос хлеба, пшена, глядел за Нюркой. Зато в каждую свободную минуту бежал к амбару и проводил время с друзьями.

Щенок и заяц подросли и выравнились, привыкли друг к другу и презабавно играли. Щенок облапит зайца, поймает за шиворот и начинает немилосердно таскать. Заяц встанет на задние лапы — да так забарабанит передними по морде, что щенок повалится на спину и начинает отбиваться, сердито повизгивая. А Ванятка покатывается со смеху.

Только взрослые досаждали Ванятке: гонялись за зайцем, травили собаками. Но заяц перестал бояться собак: погонятся за ним, он под амбар, а если посреди двора окружают, вскочит в телегу или в сени забьется, а раз вскочил в большую кадку с резаной соломой. Собаки прыгают кругом, а достать не могут; увидал Ванятка, выручил.

Щенок и заяц спали вместе в кошелке, свернувшись клубочком. А утром рано, чуть зорька низко закраснеется за дальними вербами, щенок и заяц являются к окну, за которым спит Ванятка, станут на задние лапы и заглядывают. Щенок повизгивает, а заяц вдруг забарабанит по стеклу, да так, что того и гляди стекло вылетит.

Увидит мать и прогонит хворостиной, а не увидит, Ванятка откроет окошко и даст каждому по корочке хлеба, припасенной с вечера.

IV

Однажды случилось событие, которое не только помирило всех с зайцем и щенком, но и доставило обоим почетное положение.

Лето переваляло за Ильин день. Пшеницу сняли, и все стали готовить катки и молотилки.

Отец Ванятки тоже целый день налаживал каменные катки, чтоб утром на заре отвезти их на поле и начать молотьбу.

Ночь была черная, ветреная, — суховой трепал в темноте вербы и тополя, кружил по темному двору соломинки и сухие камышинки. Все крепко спали. Собаки полаяли с вечера и тоже дремали, свернувшись под телегой. Заяц со щенком забились под амбар.

С улицы, осторожно скрипнув жердевыми воротами, вошли три человека; у одного был лом. Собаки с ревом вырвались из-под телеги. Им бросили несколько кусков сала с отравой. Они похватали, сейчас же стали кататься в судорогах и неподвижно вытянулись.

Три человека стали ломать замок у конюшни, из-под амбара выскочил щенок и, вертясь около ног, стал тявкать. Тот, что держал лом, ударил им щенка, но в темноте задел лишь слегка. Щенок отчаянно завизжал и понесся, поджав одну ногу, к Ваняткиному окну; заяц испуганно помчался за ним. Под окном щенок, надрываясь, визжал, метался, а заяц стал на задние лапы и забарабанил в стекло.

Услыхал Ваняткин отец, схватил ружье, вышел на двор, покликал собак, — никто не отзывался. Это показалось подозрительным, и он выстрелил в воздух. Потом позвал старшего сына, вместе осмотрели двор, нашлидохлых собак, а на дверях конюшни погнутую дужку замка; воров и след простыл, — не успели сломать замка.

С этих пор и щенок и заяц стали полноправными гражданами во дворе. Мать Ваняткина стала обоих кормить.

— Ничего, пушай растет, — говорил Ваняткин отец, трепля радостно лизавшего руки щенка, — пушай растет, сторожем будет. Ишь, рот черный, — злой будет.

И дали клички: щенку — Забияка, а зайцу — Одноглазый. Они привыкли и прибежали на клички.

К осени Забияка выравнялся в хорошую собаку, облохматился, а кругом морды и около глаз выросли косматые, торчком стоящие усы и баки, что придавало ему свирепый вид. А Одноглазый стал белеть.

Ванятка не расставался с ними. Куда бы он ни шел, впереди трусил лохматый, дымчатый Забияка, с косматой свирепой мордой, а сзади Одноглазый сделает два-

три скачка, станет столбиком и поводит ушами, а там опять прыгнет и опять постоит и послушает. Если выскочат собаки, Одноглазый перемахнет через плетень и исчезнет в саду, а там его лови не лови, не поймаешь.

Ванятка пройдет дальше, оглянется, а Одноглазый опять тут, прыгнет, прыгнет, станет и пошевелит ушами.

Зато и Ванятка любил их. Бывало, сядет на землю, обнимет с одной стороны Одноглазого, с другой — Забияку, сидит и рассказывает им, как людям, по целым часам. А они понимают: Одноглазый пошевеливает ушами, а Забияка нет-нет да и лизнет Ванятку в лицо, за что получает легонький тумак. И всяким сладким куском делился с ними Ванятка.

V

Пришел сентябрь. Все Ваняткины товарищи ходили в школу. Скучно стало Ванятке, и говорит он как-то отцу:

— Батя, слышь, отдай в училище... Ну, чего я тут... Слышь, отдай.

Отец почесал поясницу, поглядел на серое небо, по которому скучно летели вороны, и сказал:

— Постой, сынок, рано тебе, пушай эта зима пройдет, а на тот год отдам.

— Отда-ай, батя... отда-ай... — упрямо хныкал Ванятка.

— Цыц! Сказываю, на будущий год.

Ванятка замолчал, но задумал свое.

Пошли дожди. Деревья трепались в холодном ветре, который обрывал последние крутившиеся листья и заливал окна сбегающими ручьями. По лужам, покрывавшим целыми озерами черневшие от грязи улицы, вскакивали и лопались дождевые пузыри. Стало неуютно, безлюдно, скучно. Одноглазый и Забияка целыми часами спали под амбаром.

Ванятка улучил минуту, достал с полатей старые отцовские сапоги и вставил туда ноги. На спину и на голову накинул от дождя мешок и отправился.

До училища было три версты. Грязь стояла непролазная. Колеса вязли по ступицу, лошади едва вытаскивали ноги.

Ванятка на улице сейчас же утонул сапогами, и когда потащил ноги, они вылезли из сапог. Тогда он ухватился за голенище, вытянул сапог и переставил одну ногу; потом ухватился за голенище другого сапога, переставил, — так и стал передвигаться, переставляя ноги.

В пот ударило Ванятку. Он разогнулся и глянул назад: уныло опустив голову и хвост и вытаскивая грязные лапы, плелся Забияка, а за ним то присядет, то прыгнет Одноглазый, по самые уши в грязи.

Ванятка замахнулся:

— Уйдите вы! Вам нельзя... Пошли, пошли!..

Забияка покорно завилял хвостом, с которого текла грязь, а Одноглазый недоумевающе поводил ушами.

Ванятка стал швырять в них грязью, а они не понимали, за что это.

— Пошли!.. Убью... — кричал Ваня, отогнал и опять побрел, утопая в грязи.

Косой дождь все так же сек лицо и заливался за шею и в рукава. Идти было мучительно тяжело. Только когда выбрался на полугорье и пошел косогором по каменистому хрящу, стало суше.

Вдали из-за сада показалось белое здание школы. Ваня, подходя к училищу оглянулся: Забияка, нагнув голову, хитро крался, а Одноглазый стоял столбиком, пошевеливая ушами.

Ваня опять с отчаянием стал швырять в них камнями, комьями грязи, со слезами озлобления крича. Забияка, поджав хвост, мокрый и жалкий, побежал под дождем домой, а за ним, то задерживаясь, то скачками, пошел Одноглазый. Выскочила откуда-то, таякая, собачонка, и заяц умчался.

Ваня обтер в сенях свои чудовищные сапоги и вошел в школу. Там стоял невероятный содом, гам, шум — была перемена.

Ребятишки накинулись на Ваню:

— А-а, зайчиный отец!..

— Ванька, здорово!..

Ваня стоял посреди них, не зная, что делать. Когда пробил звонок, все повалили в класс. Ваня, шмурыгая по полу сапогами, которые он с трудом поднимал, вошел вслед за другими и примостился на краешке парты.

Вошел учитель. Все закричали:

— Новичок! Новичок!

Учитель подошел к Ване:

— Ты чей?

Ваня стоял, упорно глядя в пол.

— Ну, что же ты не говоришь? Чей же ты?

— Мамкин,— угрюмо сказал Ваня, все глядя в пол. Ребятишки покатались от хохота и закричали:

— Заячий хозяин...

— Он Щербаков... Щербака рыжего сын.

Учитель улыбнулся.

— Зачем же ты пришел?

— Букварь.

Все опять засмеялись.

— Сколько тебе лет?

— Об рождестве девятый пойдет.

— Видишь, хлопец, ты еще мал; приходи на тот год.

— Я реветь буду,— все так же хмуро заявил Ваня.

Учитель опять улыбнулся и ласково погладил его по голове.

— Ну, хорошо, оставайся пока; слушай, о чем тут говорят; я сам поговорю с отцом.

Класс стал заниматься, а Ваня, напрягаясь и морща лоб, слушал, ничего не понимая, и чувствовал себя, как в церкви.

Урок подходил к концу. Вдруг все головы повернулись к окну, и учитель остановился на полуслове: в омытом дождем стекле виднелись две морды, внимательно глядевшие в комнату,— одна косматая, другая с длинными ушами.

Ребятишки захохотали.

— Это что такое? — спросил учитель.

— Это Ванькин кобель да заяц.

— Одноглазый...

— На задних ногах стоят...

— Они у него выучены...

Учитель строго сказал:

— Это не годится. Нельзя так.

Ваня горько разрыдался:

— Я их убью. Я их прогонял, они не слушают. Я их собаками зацуюкаю.

Учитель, успокаивая, опять ласково погладил по голове:

— Ну, ничего, ничего, успокойся. Только не бери их с собой в другой раз.

Потом позвал сторожа и что-то сказал ему. Сторож, стуча в сених сапогами, хлопнул наружной дверью, и в стекле разом исчезли и косматая и ушастая морды.

Когда Ваня ворочался, на косогоре его ждали и Забияка и Одноглазый, невыразимо грязные. Забияка, радостно визжа, прыгал и лизал в лицо, а Одноглазый становился столбиком и барабанил по коленям. Ванятка ласкал обоих и, радостный и счастливый, держась руками за голенища, чтобы не вылезли ноги, добрался домой.

VI

Пришел март. Снега быстро таяли, шумели овраги, птицы летели с юга, и солнце безоблачно сияло.

Ваня каждый день ходил в школу, но ни Забияка, ни Одноглазый его уже не провожали.

С зайцем стало делаться что-то странное. Стал он беспокоен, пуглив, поминутно настраивал уши, не давался в руки. И однажды исчез.

Долго ходил и искал его Ванятка,— нигде не было. Только когда однажды выбрался на гору, на талом снегу увидел обтаявшие заячьи следы: большими скачками, видно, уходил в степь и уже больше не ворочался.

Только раз летом на покосе видел Ваня, как по скошенному месту прокатился крупный заяц, остановился на секунду, присел, повел ушами и исчез, мелькнув в траве. Своя, видно, началась жизнь.

А у Вани и Забияки тоже у каждого своя была жизнь: Забияка зло сторожил двор, лошадей, скотину, днем и ночью не подпуская к дому никого. Стал он еще косматее, вечно в орепьях, с мотающимися комками грязи на ложах.

Ваня летом не покладая рук работал во дворе, в поле, ездил на мельницу, возил на станцию хлеб, а зимой в отцовских валенках бегал в школу.

1914 г.

ЧУДО

В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал казак Наумыч в станицу.

Заиндевшая лошадь бежит споро. Кругом пустая степь, занесенная снегом. Наискосок, через дорогу, тянет злая поземка. Верст семнадцать осталось.

Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала.

— Что за притча?..

Шагах в десяти от дороги пар шел. Слез Наумыч, идет, проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушонок плавает — оттаял.

— Али наваждение?.. — перекрестился Наумыч.

Знает — кругом верст на двадцать капли воды нет, степь сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.

Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь. А в станице — прямо к попу.

— Так и так, батюшка, нонче мне наваждение в степе было, благословите. Двадцать годов езжу по этому самому месту, капли-росинки никогда там не бывало, и называется Сухой Лог, кругом мороз, а тут прямо живая вода, а в ей лягушонок плавает.

Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал, да как заревет боровом:

— Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю запрягать вороных. Пошли за дьяконом, за дьячком, приготовьте облачение... А ты, мать, полезь на подловку, там в углу навалены иконы, выбери какую постарей божью мать, почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка

не сумеет. Да не забудь... того...— крикнул он вдогонку,— энтого... бутылочку в сани поставить,— мороз больно здоров.

Попадья, вся в паутине, слезла с подловки и подала почернелую доску.

— На́ вот. Только нос у ней маленько сколупнут.

Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним здоровенный, похожий на быка, дьякон—в волчьей, и в пальтишке не попадавший зуб на зуб дьячок — быстро ехали на паре сытых вороных в степь.

Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой стороны на паре гнедых тоже трое жарят: поп с дьяконом и с дьячком из хутора,— пронюхали, каналы.

Подскакали разом; выскочили попы да к воде с иконами. И стали друг дружку пихать.

— Ты что же это в чужой приход, сивый мерин! А?!

— Врешь, бабьятник, наш, хуторской тут юрт.

Вцепились друг другу в бороды. Дьяконы из саней на помощь поспешают. А у дьячков свое — кадило в сторонке раздувают.

Станичный дьякон скинул с правой руки волчину да, не крестясь, не молясь, ка-ак ахнет хуторского батюшку,— тот и ушел головой в снег.

Взревел по-бычьи хуторской дьякон:

— А-а, так ты нашего!..

Скинул тулуп, размахнулся — господи, благослови. И задрал ноги станичный поп, зад весь в снегу показал. Сошлись дьяконы, оба ражие, откормленные, с бычьими шеями, и голоса рыкающие,— быть бы большому бою, да бегут кучера, кричат:

— Батюшки!.. Батюшки!.. Народ едет...

А народ действительно ехал: со всех сторон зачернели сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и хутора!

Попы, кряхтя, поднялись, и пошло: «господи помилуй» и «аллилуя» и «радуйся, невесто неневестная»...

На другой день народу привалило еще больше. Везут безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падуших, порченных, кликуш. И все с умилением, со слезами пьют святую воду и прикладываются к явленным, быстро стынувшим на воздухе: морозно — прилипают губы, больно отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг. Кликуши голосят:

— Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас сподобили, недостойных?! Хучь бы одна, а то сразу две — преподобная Одигитрия да Казанская божая мать...

А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц, сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных и пара гнедых не успевают отвозить.

Так тянулось целых четыре дня. Измучились попы, до седьмого поту трудятся. По области, по станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных и как они исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами видели явленные иконы в живой воде, как для болящих царицы небесные воду все прибавляют,— стало уж маленькое озерце и не мерзнет.

Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду, набирает в пузырьки, в бутылки и развозит по всей области.

На пятый день приехали на двух санях рабочие, хмурые, черные от въевшегося металла и масла. Вылезли, достали инструменты, подошли.

— Ну, будет вам тут турусы разводить...

Вскинулись попы и молящиеся:

— Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы небесные — Одигитрия да Казанская...

— Ма-атушки!.. По матушке бы вас всех... Ишь, сколько воды нашло. В станице, почитай, водопровод стал, без воды все сидят. Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с водосвятием. Ну, пускайте, некогда нам тут с вами...

И принялись за работу. Развели костры, оттаяли землю, вырыли колодцы; открыли водопроводную трубу, заменили лопнувшую часть новой, опять засыпали землей и уехали.

Вскоре поднялась метель, все бело сравняло, и опять в степи стало тихо, безлюдно.

1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Преступление	3
Зарева	34
Дочь	50
Старуха	73
Три друга	85
Чудо	99

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор *Е. Малинина*
Художник *А. Щербаков*
Художественный редактор *К. Буров*
Технический редактор *З. Гурова*
Корректор *Л. Чиржунова*

*

Сдано в набор 23/VII—1955 г. Подписано к печати 26/X—1955 г. А 06123.
Бумага $84 \times 108^{1/32}$ — 6,5 печ. л., 5,33 усл. печ. л., 5,12 уч.-изд. л. Тираж 300000 экз. Заказ № 529. Цена 1 р. 30 к.

Гослитиздат
Москва, Б—66, Ново-Басманная, 19.

*

Книжно-журнальная фабрика Главиздата Министерства культуры УССР.
Киев, ул. Воровского, 24.

1 р. 30 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

1956 г.